

Северин Н.



АВАНТЮРИСТЫ

История в романах

История в романах

Н. Северин
Авантюристы

«Алгоритм»

1899

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Северин Н.

Авантюристы / Н. Северин — «Алгоритм»,
1899 — (История в романах)

Н. Северин – литературный псевдоним Надежды Ивановны Мердер (урожденной Свечиной; 1839–1906), талантливой русской писательницы конца XIX – начала XX столетия. Первая ее повесть: «Не в порядке вещей» появилась в «Отечественных Записках» в 1877 г. Романы, повести, рассказы, очерки ее печатались в «Деле», «Живописном Обозрении», «Русской Мысли», «Вестнике Европы», а с 1890 г. – в «Русском Вестнике», «Историческом Вестнике», «Ниве». Она также написала несколько пьес для театра: «Супружеское счастье» (СПб, 1884), «Познакомились», «Перепутала». Захватывающие события романа «Авантюристы», публикуемого в этом томе, разворачиваются во времена правления Елизаветы Петровны. Главный герой, офицер гвардии ее величества императрицы Владимир Борисович Углов волею судьбы попадает в круговорот событий, сопровождающий любую борьбу за власть, где в полной мере испытывает на себе интриги, доносы, наветы, предательство. На кон поставлены его честь и любовь. И движимый этими высокими чувствами, прежде легкомысленный корнет пускается в опасный заграничный вояж...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

© Северин Н., 1899

© Алгоритм, 1899

Содержание

I	6
II	17
III	25
IV	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Н. Северин

Авантюристы

I

Слухи о деле офицера гвардии ее величества императрицы Елизаветы Петровны, Владимира Борисовича Углова, из кабинетов государственных деятелей, которым оно было отчасти известно, начали расползаться по городу, возбуждая самые разноречивые сплетни и толки, в то время как сам виновник этой, предполагаемой уже многими авантюры ничего еще не подозревал о ней.

Как ни в чем не бывало, продолжал он наслаждаться жизнью, сложившейся для него особенно приятно, не замечая сострадания, любопытства и злорадства, возбуждаемых его появлением в том самом обществе, где не дальше, как с неделю тому назад, его встречали с распростертыми объятиями, как любезного гостя, добродушного и услужливого товарища и выгодного жениха.

Углов не замечал, что прежние друзья стали с ним сдержаннее и холоднее, что оживленные разговоры обрывались и заменялись неловким молчанием при его появлении, что завистники и враги с назойливым любопытством всматривались в его лицо и прислушивались к каждому его слову, чтобы по его взгляду, по голосу разгадать: известна ли ему интересная тайна, занимавшая весь город?

Недоброжелателей у Владимира Борисовича было много. Он был молод, красив, богат, шел хорошо по службе, нрав у него был веселый и откровенный, и если, с одной стороны, за ним утвердилась репутация простака, неспособного воспользоваться случаем, чтобы сделать блестящую карьеру, то, с другой стороны, не нашлось бы ни одного человека, который усомнился бы в его честности, доброте и благородстве.

Родителей он лишился в раннем детстве и вырос на попечении родственников, которых у него было много, всякого звания и состояния – и видных, и темных, и богатых, и бедных. Ко всем относился он с уважением и любовью, никого не забывал поздравлять с ангелом и с праздником, с одинаковым аппетитом уплетая пироги с кашей в домике тетеньки Аграфены Карповны, вдовы мелкопоместного помещика, и лакомясь затейливыми фрикасе на банкетах дяденьки Ивана Васильевича Таратина, у которого он имел счастье встречать важнейших сановников государства.

Одним словом, до той весны, с которой начинается этот рассказ, жизнь корнета Углова текла, как по маслу. Женщины в него влюблялись, начальство к нему благоволило, родственники его ласкали, деньги ему присылались без задержки и в достаточном количестве из Угловки, родового имения, до которого, по выражению Лёвошки, камердинера Владимира Борисовича, было так далеко, что в три года до него не дойдешь и не доскачешь. Но это было, как почти все, что думал и говорил Лёвошка, бессовестное преувеличение и вранье, тем более наглое, что сам он знал, как нельзя лучше, что обоз с живностью и разными деревенскими продуктами, являвшийся к ним на двор каждый год перед Рождеством, выезжал из Угловки не ранее конца октября.

Впрочем Углову до сих пор не было случая раздумывать над расстоянием между столицей и родовым гнездом: поселяться в деревне ему и в голову не приходило. К такой печальной необходимости могла принудить его только старость (до которой, слава богу, было далеко: ему недавно минуло двадцать два года) или, чего боже упаси, опала.

Последнее предположение вызывало улыбку на устах Владимира Борисовича. Ничего подобного не могло с ним случиться: кроме любовных грешков, за ним никакой вины не

числилось. Вообще жизнь он вел самую аккуратную, какую молодой офицер с его состоянием мог вести, с буянами и честолобцами не сближался, политикой не интересовался, а к безбожникам и вольнодумцам, дерзавшим судить и рядить о вещах, до них не касавшихся, питал такое же врожденное отвращение, как к вину и картам. Доходами своими он пользовался с похвальным благоразумием, и хотя навертел-таки себе на шею долг в несколько тысяч рублей, благодаря знакомству с проходимкой иностранного происхождения, по имени Виржини Дюляк, но этой беде, даже по мнению его покровителя и бывшего опекуна Ивана Васильевича Таратина, с которым Углов продолжал и после совершеннолетия советоваться в затруднительных случаях, – легко было помочь: стоило только продать один из многочисленных лесных участков, которыми он владел и в саратовском воеводстве, и в казанском.

Мать его, родом Ревякина, принесла в приданое мужу крупное состояние землями, драгоценными урожаями, серебряною и золотою утварью. Вещи эти бережно хранились ее наследником. Невзирая на свою слабость к хорошеньким женщинам, на то что с тех пор, как он себя помнил, он никогда не выходил из состояния влюбленности, он позволил себе изъять только несколько безделушек из вещей матери, чтобы подарить тем из двоюродных и троюродных сестриц, родители которых особенно ласкали его; остальное же приберегалось им для той, которую он должен был выбрать в подруги жизни.

Несмотря на некоторое легкомыслие и беспечность, Углов относился к мысли о женитьбе очень серьезно и искал в будущей жене вовсе не того, что в любовницах, а потому нет ничего удивительного, что он остановил свой выбор на умной и прекрасно образованной красавице, старшей дочери сенатора Чарушина, женатого на храброй даме, известной в городе своим злым языком, строптивым характером и заботливостью о дочерях, которых у нее было целых четыре.

Старшую и самую красивую, Фаину, она решила выдать замуж как можно раньше, чтобы она не мешала пристроить сестер, и, с первого знакомства с Угловым, наметила его себе в зятя.

И это намерение уже близилось к исполнению. Если Углов еще медлил формальной декларацией, как тогда выражались, то единственно потому, что ему хотелось привести прежде в порядок свои дела, то есть расплатиться с ростовщиком, докучавшим ему большими процентами.

И вот в одно прекрасное утро, ясное, теплое и грязное, какими март месяц, как теперь, так и сто пятьдесят пять лет назад, дарил петербуржцев, он поехал к дяде Ивану Васильевичу Таратину, чтобы посоветоваться с ним насчет продажи лесной пустоши и одновременно просить его к себе в сваты.

Его тотчас же провели в дальний кабинет хозяина. Последний встретил его заявлением, что посещение его весьма кстати.

– Только что хотел за тобой посылать. Но ты мне прежде скажи, по какому делу ты ко мне пожаловал? – сказал он ему, когда они остались наедине.

Владимир Борисович совершенно спокойно и нимало не предвидя того, что его ждет, объяснил цель своего посещения; но лицо его слушателя так омрачилось по мере того, как он говорил, что это смутило его.

– Вы, может быть, думаете, что за меня не отдадут Фаины Алексеевны? – спросил он. – Но мне кажется, что отказа опасаться нечего. Меня принимают в этой почтенной семье с таким отменным вниманием, что и к декларации моей отнесутся вполне благосклонно...

Ему не дали договорить.

– Когда ты у них был в последний раз? – спросил Таратин, не раздвигая озабоченно сдвинутых бровей.

– На прошлой неделе. У них больные...

– Откуда у тебя эти вести?

– Я послал в прошлое воскресенье Анне Ивановне сушеных фруктов из Угловки, и она сама вышла к моему посланному, чтобы приказать меня благодарить и сказать, что, к сожалению, не может пригласить меня кушать по той причине, что у меньших барышень оспа...

– Странное дело! Я не дальше как вчера видел Чарушина в Сенате, и он мне ни слова про это не сказал!

– Да вы, может быть, не осведомлялись про его семью?

– Осведомлялся. Но что же дальше?

– Дальше то, что я прошу вас, дяденька, быть моим сватом. Фаина Алексеевна, старшая девица Чарушина, мне изрядно нравится, и я решил, что лучшей жены мне не нужно. Я приехал к вашей милости, как к родному отцу, кабы он был жив. Алексей Андреевич вас так уважает. – Владимир Борисович смолк в ожидании ответа, но дядя молчал; тогда он спросил дрогнувшим от волнения голосом: – Вы, кажется, раньше ничего не имели против этого альянса¹, дяденька?

– Да я и теперь ничего против него не имею, нахожу только, что ты некстати затеял сватовство. Брось на время эти прожекты и сбирайся-ка в дальний путь. Тебя назначили сопровождать курьера иностранной коллегии в чужие края...

– В чужие края? – спросил вне себя от изумления Углов.

– Да, в чужие края. Куда именно, не могу тебе сказать – командировка секретная, и вы узнаете, куда и зачем вам ехать, только переехавши границу.

– Но кто же? Кому я обязан этим назначением?

– Уж этого я, братец, не знаю, а только должен тебе сказать, что командировка эта явилась для тебя весьма кстати. Столичный воздух тебе стал вреден, – прибавил старик.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать...

– И нечего тебе понимать. Поезжай себе с Богом, а тем временем, Бог даст, гроза рассеется...

– Какая гроза?

– Вернувшись все узнаешь. Узнаешь, почему прежние друзья, с которыми ты покучивал и у которых отбивал любовниц, стали теперь от тебя отстраняться... Что? Или ты этого не замечал до сих пор? Ну и простофиля же ты, братец! Приглашал тебя намеренно на свою вечеринку Голицын? А был ты на сговоре товарища своего Томилина? А вспомнили про тебя у Татишевых, когда, на прошлой неделе, у них плясали до утра и весь двор у них был? И неужели тебя не удивило, что в прошлое воскресенье тебя не приняли у Засекиных, когда три кареты у них стояло на дворе?

Пред духовными очами бедного Углова точно завеса поднималась все больше и больше с каждым словом дяди. Неловкое и позорное положение, в котором он находился, сам того не подозревая, стало ему теперь ясно, как день, и он вспыхнул до ушей от негодования и стыда.

– Но за что же на меня такая напасть? За что? – воскликнул он с отчаянием.

– Все узнаешь со временем...

– Но я не могу ждать! Я не могу жить с мыслью, что неизвестные враги подкапываются под мое счастье, под мою честь и что я ничего не могу сделать, чтобы от них оборониться...

– На твою персональную честь никто не посягает, и если ты уж непременно хочешь знать...

– Разумеется, мне это нужно знать! Я никуда не двинусь из Петербурга, пока не узнаю, в чем дело. Я у всех буду спрашивать, подам прошение государыне... великому князю... я поеду к канцлеру... я на все пойду, чтобы узнать, кто – мои враги...

¹ Союз, брак.

– Этого ты не узнаешь; будет с тебя и того, если я скажу тебе, что на тебя подана государыне челобитная, в которой тебя обвиняют в неправильном владении имениями твоего отца.

– Кто посмел подать такую наглую челобитную? Кто? – воскликнул Углов, срываясь с места и сжимая кулаки в беспомощном гневе.

– Тише, успокойся и выслушай меня без крика и брани, а не то я ни слова больше тебе не скажу. Мне с безумцем разговаривать неохота, – с напускною холодностью заметил Иван Васильевич. – Челобитную на тебя подал императрице в собственные руки один из иностранных послов, – продолжал он, когда его собеседник, сдерживая волнение, уселся на прежнее место.

– Императрице... в собственные руки... иностранный посол? – машинально повторил Углов с целью уяснить себе смысл этих слов.

Но стоило только взглянуть на его лицо, чтобы убедиться в тщетности его усилий.

– И ничего тут особенного нет, – продолжал Таратин, стараясь говорить как можно беззаботнее, чтобы доказать своему слушателю, что его положение далеко не так ужасно, как ему кажется. – Нам каждый день приходится разбирать доносы, ябеды и челобитные, и не на таких мальчишек, как ты, а на людей почтенных и с знатным прошлым...

– Которым вы, однако, вряд ли советуете спастись бегством за границу от клеветы, – с горечью заметил молодой человек.

– Да ты никак совсем рехнулся? Тебя посылают с царским курьером, тебе оказывают честь и доверие, и чем бы радоваться такому счастливому случаю, ты ропщешь? Стыдись, братец!

Лицо юноши мучительно исказилось.

– Я должен знать имя моего злодея, – глухо произнес он.

– Фу ты, пропасть, как надоед! Сколько раз тебе повторять, что челобитная подана от имени личности, которой, кроме императрицы, никто не знает! Нам приказано рассмотреть претензию, – вот и все.

– У меня оспаривают право на наследство после батюшки? И только? – упорно проговорил Углов, устремляя на старика пристальный и пытливый взгляд.

– А тебе этого мало? – запальчиво воскликнул этот последний, в свою очередь поднимаясь с кресла и принимаясь в волнении прохаживаться большими шагами по комнате. – Чего ж тебе еще надо, скажи на милость? Наследство после отца! Угловскую волость! Богатейшую в воеводстве! Да тебе, мозгляк, вся цена будет ломаный грош, если твоим врагам эта штука удастся, – продолжал он, все больше и больше одушевляясь и возвышая голос до крика. – Ведь за тебя тогда не то что Чарушину, а даже и дочь последнего сенатского писаря не отдадут! На что ты тогда в гвардии будешь служить, экипажи держать, франтом одеваться? Подавай в отставку, поезжай в Ревякино свиней пасти, вот что тебя ждет! Да что это я, господи боже мой! – спохватился старик, испугавшись своих собственных слов. – Никогда этому не бывать! Никогда! Мы тоже не без связей... тоже верой и правдой царям служили... кровь свою за них проливали... наш род не из последних... за тебя есть кому постоять...

В своем волнении он шагал взад и вперед по кабинету, не замечая, что племянник уже давно не слушает его. В голове юноши кружилось такое множество разнообразных мыслей, что ни на одной из них он не мог остановиться, а сердце тоскливо ныло от странных, никогда еще доселе не испытанных, предчувствий. С ужасом отбрасывал он от себя мысль, что любимая девушка отвернется от него в такую тяжелую для него минуту, а между тем эта мысль все назойливее и назойливее залезала ему в душу.

– Сенатор Чарушин про мое дело знает? – спросил он наконец.

– А ты еще в этом сомневаешься? С чего же оспа-то так кстати с его дочками приключилась? – прибавил Таратин с злобной усмешкой.

Ему было очень жаль племянника, но он был из тех людей, которые чувства свои за стыд считают выказывать, и придерживался такого мнения, что нежностью боли сердца не исцелишь, а скорее растрaviшь.

– Откуда он это узнал, этого я не знаю, – может быть, от канцлера, а может быть – от той старой девки, сестры его жены, которая при ее величестве состоит. Но так или иначе, а ты не вздумай с ним про это заговорить! Сам должен понять, что дело это составляет тайну, которую я нарушил лишь для того, чтобы тебя просветить, в полной уверенности, что ты этим не злоупотребишь. Решение государыни еще неизвестно, может быть, она прикажет оставить эту каверзу без внимания или повелит произвести секретное расследование, или просто пожелает дать делу законный ход, все в ее воле, – прибавил он, покорным жестом наклоня голову и разводя руками.

– Понимаю теперь, – произнес вполголоса Углов, отвечая на вопрос, не перестававший щемить ему сердце.

«Ничего ты не понимаешь, и слава богу!» – подумал старик, но вслух прибавил:

– Ну и хорошо! Надо быть мужчиной, Владимир. Отвернись от прошлого и смотри прямо в глаза будущему! Вот тебе мой совет... Поезжай себе с Богом. Если что нужно – пиши, ответом не замедлю... И советую тебе, до твоего возвращения, в публику не показываться. Не для чего тебе и к Чарушину ехать. Пока дело твое не распутается, о сватовстве тебе думать нечего. – Таратин крепко обнял племянника. На глазах его были слезы, но это не помешало ему закричать вслед, когда он вышел в зал: – Помни, что до тех пор со всеми невестами, которые тебе приглянутся, оспа приключится!

Понял ли Владимир Борисович злую насмешку, или нет, но поступил так, как будто ее не слышал, и, садясь в карету, приказал себя везти на Гороховую, к сенатору Чарушину.

Ехать надо было долго – дорога была убийственная, и приходилось двигаться шагом, а от дома Таратина, близ Таврического дворца, до Гороховой было далеко. Владимир Борисович был очень рад этому. Он надеялся до приезда привести в порядок мысли и чувства, но свежий воздух и уличное движение на развлекали его, и, как ни старался он следовать совету дяди и думать исключительно только о предстоящей поездке в чужие края, ему это не удавалось. Проклятое дело, поднятое против него таинственными злодеями, таким огромным, черным пятном застилало все прочие мысли в его уме, что он на нем только и мог остановиться, на нем и на Фаине.

Не думал он до сих пор, что эта девушка так глубоко засела ему в сердце. Не дальше как сегодня утром, отправляясь к дяде просить его быть сватом, Владимир Борисович был убежден, что любит ее самой умеренной, самой благоразумной любовью и что он именно потому медлит декларацией, что не вполне уверен в том, что она нравится ему больше других девушек. А теперь, когда дядя дал ему понять, что нельзя рассчитывать на то, что ему отдадут Фаину, ему казалось, что он никогда не утешится, что на всем земном шаре одна только и существует девушка, которая может составить его счастье, и что девушка эта – Фаина. Мысль уехать в чужие края, не зная, что ждет его по возвращении и останется ли ему верна любимая девушка, повергала его в отчаяние.

На повороте с Невского проспекта в один из бесчисленных переулков, между огородами, окруженными изгородями, он услышал, что его окликают по имени:

– Господин Углов!

Углов высунулся из окна и увидел молодого франта, князя Барского, одного из любимцев цесаревича и завсегдатая Малого двора.

– О чем это вы так задумались, господин Углов? Не беспокойтесь останавливать лошадей; то, что я имею вам сообщить, не потребует больше одной минуты, а вы, верно, имеете важные причины торопиться туда, где, без сомнения, вас ждут, – прибавил он с лукавой усмешкой. – Поезжайте же туда, куда вас влечет сердце, но прежде скажите мне: известно

ли вам, по чьему желанию вы назначены сопровождать курьера, который едет с депешами государыни за границу?

– Я только сию минуту узнал про эту командировку от моего дяди Таратина и ничего больше не знаю, – ответил Углов.

– Я так и думал и потому свернул с пути, как только завидел издали ваш экипаж, чтобы вам сказать, что вы отправляетесь по желанию великой княгини-цесаревны... До свидания, господин Углов, желаю вам удачи!

С этими словами он скрылся в калитке.

Углов, как всегда после встречи с Барским, подумал про себя: «Какой чудак этот князь!» – и, возвращаясь к прерванным мыслям, сказал себе: «Вот кому все должно быть известно!» – и пожалел, что не выскочил из экипажа, чтобы обстоятельнее поговорить с князем.

Про Барского ходило по городу множество интересных и таинственных рассказов: говорили, что он ближе к императрице, чем наследник престола, и что он мог бы пойти далеко, но что заграничное воспитание и полная самых двусмысленных приключений жизнь в сомнительном обществе извратили его ум, вкусы и характер до такой степени, что он ни с кем не может ужиться. И действительно из человека, слепо преданного императрице, князь внезапно превратился в интимного друга наследника², а в последнее время стали ходить темные слухи про его будто бы сближение с великой княгиней³.

Углов имел случай убедиться, что князь Барский сделался завсегдатаем того кружка гвардейцев, которые группировались вокруг Орловых, Пассека и других, враждебно относившихся к цесаревичу и распространявших слухи про дурное обращение последнего с супругой, пристрастие к немцам, неуважительные отзывы о государыне и тому подобный опасный вздор.

Одного этого было бы достаточно для такого человека, каким был тогда Углов, чтобы возбудить в нем недоверие к Барскому, но у него, кроме того, были другие причины относиться к князю если не враждебно, то по меньшей мере подозрительно: прошлой зимой Барский увивался за Фаиной, которую встречал у ее тетки, камер-фрейлины императрицы. Сама Фаина созналась Владимиру Борисовичу в этом. Правда, что это было до знакомства Углова с семейством сенатора Чарушина и, по словам Фаины, продолжалось недолго, тем не менее Владимиру Борисовичу казалось странным, что князь теперь так внимателен к нему.

– Он верно вас желает в свою партию привлечь, – ответила Фаина, когда однажды Углов спросил у нее, с какою целью князь Барский так лебезит с ним?

В этом ответе не было ничего удивительного. Такое было время, что во всех домах столицы только и речи было, что о партиях, переворотах и заговорах. О том, чтобы причинить какую-нибудь неприятность царствующей императрице, мало кто помышлял, а если такие и были, то вслух мысли свои выражать не осмеливались. Императрица была слишком любима всеми; но она становилась стара, часто хворала; из достоверных источников было известно, что ее преследует мысль о смерти, что у нее были видения, предвещавшие скорую кончину, что и в нраве ее произошел зловещий переворот: с каждым днем все больше и больше охладевала она к светской суеде и мирским утехам, тяготилась делами, громко сетовала на невозможность совсем удалиться от света, и при этом, как прибавляли шепотом, у нее все чаще и чаще прорывались слова, доказывавшие ее разочарование в наследнике престола.

Приверженцы цесаревны, число которых возрастало с каждым днем, в особенности среди молодежи, с усердием распространяли эти *слухи*. Старики неодобрительно покачивали головами, уверяя, что все это – не что иное, как выдумки досужих умов. Но удержать

² Петр Федорович.

³ Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина Великая.

поток сплетен и предположений никто не мог. Всеобщее ожидание перемены, искусно поддерживаемое таинственными личностями, проникало всюду. Уж на что семья Чарушиных слыла за осторожнейшую и благоразумнейшую, но и в ней в последнее время возник раскол: отец, облагодетельствованный императрицей благодаря сестре его жены, молил Бога о продлении жизни царствующей государыни и проповедовал глубокую преданность избранному ею наследнику престола; дочери же, со старшей сестрой во главе, восхищались великой княгиней. Жаркие споры, часто кончавшиеся ссорами, так надоели Углову, что он каждый раз, когда они случались, брал гитару и начинал наигрывать плясовую или затягивал залихватскую песнь своим глубоким, бархатным баритоном, или, схватив которую-нибудь из меньших сестренек Фаины за руки, с громким хохотом кружился с нею по залу до тех пор, пока старшие не бросали разговора о политике.

Владимиру Борисовичу было по себе, приятно и весело в доме Чарушиных, где он всем приходился по душе, начиная от родителей Фаины и кончая последней босоногой девчонкой, шмыгающей без усталости из барских комнат в девичью, где вышивали приданое старшей барышне. С ним советовались насчет узоров для бесчисленных кофт, капотов и юбок; он должен был решать, какими кружевами лучше украсить летнее платье, пудермантль, каким атласом покрыть салоп на дорогом меху и т. п. Он знал, что все это делается для него, чтобы ему еще больше нравилась хорошенькая Фаина...

Карета остановилась перед воротами, за которыми виднелся большой дом с мезонином, и Лёвочка соскочил с запяток, чтобы бежать с докладом, но барин позвал его из окна.

– Подожди меня здесь, я без доклада пройду, – сказал он, выскакивая из кареты и направляясь к дому.

Но не успел Углов подняться на крыльцо и переступить порог двери в прихожую, которую никто не потрудился перед ним растворить, как начал убеждаться, что его дядя был прав.

Как всегда, при его появлении в доме поднялась суматоха, но не такая, как бывало прежде: чем бежать к нему навстречу с радостно приветливыми лицами, челядь стремительно, как стая испуганных журавлей, рассыпалась в разные стороны. На вопрос, предложенный мальчишке, не успевшему скрыться со всеми: «Дома ли господа?» – мальчуган растерянно ответил: «Не знаю-с», – и со всех ног пустился бежать.

Углов оглянулся в другую сторону и встретился с угрюмым взглядом той самой старой няни, которая так еще недавно осыпала его ласковыми приветствиями. Но и она скрылась, заметив, что он намеревается заговорить с нею.

Гость остался в прихожей с одним только дурачком Федосеичем, который, притулившись с чулком в руках в конце длинного конника, смотрел на него безжизненными глазами из-за сверкающих спиц.

Владимиру Борисовичу казалось, что и это Богом обиженное существо относится к нему враждебно: ему стало жутко и так обидно, что, если бы не чувство собственного достоинства и не желание во что бы то ни стало убедиться в перемене так еще недавно преданных ему людей, он поддался бы искушению бежать, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

Но Углов слишком хорошо сознавал свою невиновность, чтобы не понять, что бегство послужит подтверждением пущенной на его счет гнусной клеветы. В нем проснулась гордость и, сбросив с себя плащ, который никто не шел с него снимать, он, высоко подняв голову, прошел в зал.

Тут было совсем тихо и пусто. Вся жизнь сосредоточилась в задних комнатах, где при известии о том, что карета Углова заворачивает в их улицу, барин, запахивая на ходу свой китайчатый халат и придерживая на лысой голове бумажный вязаный колпак, стремительно побежал совещаться со своею супругой.

– Приехал! Как тут быть? Отказать нельзя, без доклада вошел! – воскликнул он, врываясь в спальню, заставленную сундуками, с огромной кроватью в глубине и с модным туа-

летом между окнами, за которым жена его сидела в низком кресле, в то время как горничная-девка расчесывала ее черную, с проседью, косу.

– Мне уже доложено, – спокойно ответила Анна Ивановна.

Но ее спокойствие было напускное, в глазах ее бегали зловещие огоньки, и руки с баночкой румян заметно дрожали.

– Как же быть? – жалобно протянул супруг.

– Принять и сказать, что мы заняты укладкой: мол, едем в Москву.

– А как же Фаина? Она непременно выйдет к нему...

Анна Ивановна презрительно повела плечами:

– Об этом не беспокойтесь, это – моя забота. А вы ступайте справлять свое дело. Да не переверите, ради самого Создателя! Мы в Москву уезжаем... маменька захворала... Нарочного прислал с письмом, – импровизировала она, резко отчеканивая слова, чтобы лучше запечатлеть их в памяти супруга. – Уезжаем на днях, всем домом собираемся... в расстройстве... никого не принимаем...

– А как же бал у посланника?

– Так что же из этого? Какое это имеет отношение? – отрывисто спросила Анна Ивановна.

– Разве мы на него наших девочек не повезем?

– Не говорите глупостей, Алексей Андреевич! Платья готовы, цветы закуплены, с какой стати мы их лишим удовольствия видеть настоящий свет? Вы, верно, забыли, какого мне стоило труда достать приглашение? Вы все забываете, Алексей Андреевич: голова у вас, как решето. И что вы тут стоите? Он уже, верно, в зале... Ступай, посмотри, – обратилась она к горничной, и та побежала исполнять приказание. – Как вы не понимаете, что надо только дать ему понять, чтобы он прекратил на время свои посещения? Удивительный вы человек, Алексей Андреевич! И как это вас в сенаторы произвели, дивиться только надо! Да вы даже в порядочные лакеи не годитесь, ей-богу, право!

– Не сердись, голубка, но я никак не могу взять в толк: выдадим мы за него Фаиночку или нет?

Анна Ивановна так грозно стукнула коробочкой по столу, что супруг ее съежился и отступил к двери.

– Вы – совсем дурак, Алексей Андреевич! Делайте, что вам говорят!

– Он, может быть, с декларацией приехал...

– А вы до декларации его не допускайте, кружите его вокруг да около и с первых же слов, не давая ему разговор про Фаину завязывать, про наш отъезд скажите; он поймет.

– Ты думаешь он поймет, лебедь моя белая?

– Разумеется, поймет. Он – не такой дурак, как вы... Смотрите же, не перепутайте, боже вас упаси! Мы укладываемся... едем в Москву... письмо от маменьки, – отчеканивая слова, точно с тем, чтобы с силой вбить их мужу в голову, закричала ему вслед Анна Ивановна.

Начиненный таким образом мудрыми наставлениями супруги, сенатор Чарушин, торопливо и не оглядываясь, направился потайным ходом, проделанным в стене между спальней и кабинетом, на свою половину, но у двери сюда его нагнала посланная ему вслед девка с напоминанием не забыть переодеться и надеть парик, перед тем как выйти к гостю. Вот как заботилась Анна Ивановна о своем супруге! Недаром слыла она примерной женой!

А Углов между тем ждал в зале, погружаясь все глубже и глубже в печальные размышления.

По временам до ушей его достигали шум осторожно приближавшихся шагов к припертой двери из внутренних комнат, шорох крахмальных юбок, сдержанный шепот и смех; он не мог не догадываться, что из всех щелок, из всех замочных скважин, на него выгляды-

вают любопытные и насмешливые глазки, что во всех уголках дома про него судачат, и эта уверенность усиливала его тоску и раздражение.

Вот они, светские отношения! Вот она, любовь светской девушки! Стоило только первому негодю пустить про человека нелепейший, ни на чем не основанный слух, и все, точно сговорившись, отвернутся от несчастного, безвинно оклеветанного, не дав ему оправдаться!

Фаина – такая же, как и все. Давно ли прохаживался он с нею по этому самому залу в сумерках, нашептывая ей на ухо любовные признания, которые она выслушивала с милой, застенчивой улыбкой, лучше слов выражавшей удовольствие, которое она испытывает быть им любимой! Как рдело ее прелестное личико от сладкого волнения! Как доверчиво склоняла она к нему свою красивую головку, когда, ободренный ее красноречивым молчанием и нежными вздохами, он позволил себе взять ее руку и поднести ее к своим губам! Если бы не помешали некстати вбежавшие сестренки, он не сдержал бы порыва страсти и поцеловал бы милую девушку в губы.

О, коварная! Она теперь, без сомнения, вместе со всеми, смеется над ним, – смеется над его доверчивостью, над его любовью...

Наконец, после ожидания, показавшегося Углову вечностью, дверь из кабинета растворилась, и к нему вышел хозяин дома в напудренном парике и в шелковом халате с зелеными разводами по лиловому фону, накинутом на тафтяную фуфайку и канифасные красные штаны.

Не желая долго заставлять ждать гостя и опасаясь пере забыть наставления супруги, Алексей Андреевич ограничился обменом одного только затрапезного халата на другой, более приличный, в котором имел обыкновение принимать просителей, перед тем как надеть мундир, чтобы ехать в Сенат.

Не будь Владимир Борисович в таком возбужденном состоянии, он заметил бы смущение сенатора и, может быть, посовестился бы резким и вызывающим тоном объявить, что он приехал проститься и просит извинить, если сделал это некстати...

– Проститься?.. Вы уезжаете, сударь мой? – с радостной улыбкой на просиявшем лице воскликнул старик, крепко пожимая его руку и ласково заглядывая ему в лицо. – Да войдите же ко мне, любезный Владимир Борисович, покалякаем! Скажите, что за причина заставляет вас так неожиданно нас покинуть? – суетливо продолжал он, сообразив, что Анна Ивановна никогда не простит ему, если он отпустит посетителя, не узнав, куда тот едет, надолго и зачем? – Так как же, сударь мой, вы нас покидаете? – повторил он, весело ухмыляясь, когда гость занял указанное ему место против кресла хозяина у письменного стола.

– Завтра надеюсь выехать, сударь, и счел своим долгом поблагодарить вас и вашу супругу за ласку и доброе участие, которыми вы меня, сироты, не оставляли, – проговорил молодой человек с усмешкой, плохо вязавшейся с изысканной учтивостью его слов.

– В имения свои отправляетесь? – полюбопытствовал сенатор.

– Нет, в имениях у меня все идет изрядно, и ехать мне туда не для чего. Я получил конфиденциальную командировку в чужие края, – ответил Владимир Борисович, кусая себе губы, чтобы не расхохотаться над переменою в лице его слушателя.

Оно постепенно вытягивалось; добродушная улыбка сенатора превращалась в гримасу недоумения, в остановившихся глазах выразился страх, и, нетерпеливо ерзая в кресле, Чарушин ежеминутно оборачивался к маленькой двери между шкафами, у которой его супруга имела обыкновение подслушивать его разговоры с просителями и вообще со всеми лицами, интересовавшими ее.

Боже, как дорого дал бы бедняга-сенатор, чтобы она вошла в эту минуту и заменила его в беседе с женихом их дочери! Все ее наставления вылетели у него из головы, но одно только было ему ясно: надо делать и говорить совершенно противоположное тому, что ему велено было, но что именно – он не знал.

А Углов между тем продолжал:

– Я попросил бы у вас дозволения проститься с почтеннейшей Анной Ивановной и с вашими прелестными дочками, но, к сожалению, у них оспа...

– Оспа? Да, да, но они уже поправляются, – произнес Алексей Андреевич и, вдруг меняя тон, спросил: – Когда же вы уедете? неужели уже завтра? И надолго ли? И можно узнать, куда именно вас командировали? – растерянно предлагал он вопрос за вопросом, не дожидаясь ответов и смущаясь под насмешливым взглядом своего гостя. – Анна Ивановна тоже едет с дочками в Москву... вчера прискакал посланный от матушки... старушка опасно захворала...

«Оспой?» – чуть было не сорвалось у Углова, но он воздержался от такого явного издевательства.

Между тем собеседник его, мысленно сетуя на супругу за то, что та поставила его в такое неловкое положение, и перескакивая без толка и без смысла от одного предмета к другому, продолжал:

– Милости просим к нам по возвращении... Впрочем, все в воле Божией! Может так случиться, что барыни мои загостятся в Москве, а я уж тут один, понимаете, бобылем буду жить... Плохо без хозяйки, сударь мой, очень плохо... Впрочем, ваше время еще не ушло, успеете обзавестись семьей, – поспешил он прибавить, испугавшись, чтобы Углов не принял его слов за намек. – А почтеннейший ваш дядюшка, Иван Васильевич? Как он изволит здравствовать? – спросил Чарушин, круто поворачивая разговор на другой предмет.

– Благодарю вас, сударь, он, слава богу, здоров и приказал засвидетельствовать вам свое почтение. Я от него, – ответил Владимир Борисович, забавляясь волнением своего слушателя и тревожною растерянностью, с которой тот продолжал озиаться на дверь.

Наконец попытка сенатора кончилась. Углов поднялся с места, чтобы откланяться, и все с той же двусмысленной усмешкой, которой никто раньше у него не видал, пожелав хозяйину доброго здравия, направился к двери, забыв упомянуть про госпожу Чарушину и про ее дочерей.

Когда он, в сопровождении хозяина, который непременно захотел проводить его, вошел в переднюю, то застал тут весь штат казачков и лакеев в полном сборе, с подобострастным и заискивающим выражением на лицах, а нечаянно взглянув в коридор, заметил хорошенькие глазки Фаины, нежно выглядывавшие на него из темноты. Но эта перемена только польстила самолюбию Владимира Борисовича, нимало не смягчая озлобления, наполнявшего его сердце.

Совсем другим человеком вышел Углов из дома Чарушиных. Как бы в отместку коварной Фаине, ему захотелось повидать Виржини, и он приказал кучеру ехать на Васильевский остров.

Но прелестницы не оказалось дома, и Углов велел остановиться у Летнего сада. Тут он встретил множество знакомых и приветствовал их так весело и развязно, что ему не могли не отвечать тем же.

Переходя от одной группы гуляющих к другой и расточая направо и налево комплименты и шутки, Владимир Борисович забавлялся любопытством, возбуждаемым каждым его словом и взглядом, и думал про себя, что морочить людей вовсе не так трудно, как ему казалось раньше, когда он умел выражать только то, что действительно чувствовал и думал.

Не один простоватый Чарушин поверил, что Углов имеет причины быть счастливым, в то время как душа его была в смятении от обиды и страха.

Да, от страха. Молодой человек не мог без внутреннего содрогания вспомнить про челобитную, поданную на него неизвестным врагом, и сознавал как нельзя лучше, что у него не будет ни минуты покоя, пока ему не удастся разъяснить эту тайну. Между тем его усылают за границу! Вся кровь бросалась ему в голову при мысли, что его встреча со злодеем

откладывается вследствие этой поездки на неопределенное время, и безумнейшие предположения застилали его разум в то самое время, когда губы его любезно улыбались и с них срывались остроумные замечания и беззаботные шутки.

– А, должно быть, неприятное дело, которое будто бы грозит Углову, – не что иное, как пустая сплетня, пущенная с целью возбудить против этого милого молодого человека общественное мнение, – заметила одна из дам, с которой он расстался, чтобы подойти к другой. – Никогда еще не видала я его таким веселым и беспечным.

– Да, он не похож на человека, которому грозит потеря имени и состояния, – подхватил ее кавалер, размахивая тростью с золотым набалдашником и поправляя пышное кружевное жабо.

– Я всегда был такого мнения, что это – гнусная выдумка и ничего больше, – согласился его сосед.

– И я тоже! И я тоже! – повторяли другие.

К вечеру весь город, за исключением тех немногих, которым была известна истина, утверждал, что слух, пущенный против Углова, – не что иное, как клевета.

Но Владимиру Борисовичу не удалось насладиться плодами разыгранной комедии.

Вернувшись домой, он нашел на своем письменном столе предписание из иностранной коллегии сопровождать курьера, чиновника Борисовского, отправлявшегося по казенной надобности в чужие края, и, с необходимой подорожной, краткую инструкцию – во всех своих действиях согласоваться с приказаниями его спутника. При этом он узнал, что от Борисовского приходил посланный с приглашением пожаловать к нему, чтобы переговорить о предстоящем им совместном путешествии.

– А догадался ты узнать, где он живет? – спросил Углов.

Левашка ответил утвердительно и сообщил адрес Борисовского. Наскоро переодевшись, Углов отправился разыскивать своего спутника и застал его уже снаряжавшимся в путь.

II

Борисовский был небольшого роста, худощавый человек, не первой молодости, с умным лицом и приятною речью. Он обошелся с Угловым весьма учтиво, любезно выразил надежду, что они проведут вместе время с пользой для интересов ее величества и не без удовольствия для себя.

Из кабинета, тесно заставленного старинною мебелью, гостя провели в светлый зал с цветами на окнах, канарейкой в клетке и добродушной дамой с заплаканными глазами и с приветливой улыбкой за столом, заставленным тарелками с солеными и сладкими закусками, и с самоваром, к которому любезно пригласили гостя присесть.

Это была супруга Борисовского, и Углов от нее узнал, что мужа ее зовут Ильей Ивановичем, что он почти всю свою жизнь, к ее несчастью, проводит в путешествиях. Сам Борисовский на это только посмеивался и прерывал ее жалобы шутливыми замечаниями насчет затруднения совмещать царскую службу с семейными обязанностями и советами относительно того, что надо брать с собой и без чего можно обойтись. Оказывалось, что они поедут в простой, открытой тележке, не останавливаясь ни днем, ни ночью, кроме как для перепряжки лошадей. Из людей Углов мог взять одного только лакея, который поедет со слугою его спутника в отдельном экипаже. Переехав границу, они переседут в дилижанс, который довезет их до первого большого города.

— А там увидим, куда нам направляться дальше, — прибавил Борисовский, отхлебывая чай с блюдечка. — Если в город Кенигсберг⁴, то мы там будем, как у себя дома: там наши войска стоят. Там же вам можно будет обзавестись необходимым платьем. И предупреждаю вас, что вы внакладе не будете, потому что заплатите за все вдвое дешевле, чем здесь. Много денег тоже не стоит брать с собой: все вам следуемое будете получать от меня, — прибавил он с улыбкой. — Поедете вы в партикулярном платье, конечно; но оружием — хорошим кинжалом и пистолетом — советую запастись. Ручаться, чтобы не повстречались нам злые люди, невозможно. Съестными припасами не стоит себя обременять: населенными местами поедем, с голода не помрем. Что же касается до прочих подробностей, то мы успеем переговорить о них дорогой, — прибавил он, поднимаясь с места и приглашая посетителя вернуться в кабинет.

Владимир Борисович последовал за ним.

Здесь Борисовский посоветовал ему готовиться к выезду ранним утром, чтобы успеть доехать до первой перепряжки, когда весь город будет еще спать.

— Прошу вас, сударь, ждать меня в исходе шестого часа. И советую вам ни с кем не видаться перед отъездом, — заявил он, пристально взглянув на молодого человека, как бы для того, чтобы убедиться, что объяснять ему причины такого совета нет надобности. — Постарайтесь подкрепиться сном, так как по непривычке спать, сидя в открытой тележке, вам придется бодрствовать несколько суток сряду, и постарайтесь одеться во все темное — чем проще, тем лучше, — чтобы по наружности вас невозможно было отличить от вашего лакея. Если нет у вас такого платья, запаситесь темным плащом поплотнее.

Наконец Углов стал с ним прощаться.

Однако Илья Иванович остановил его в дверях, чтобы спросить:

— Известно ли кому-нибудь в городе о полученном вами из иностранной коллегии предписании сопровождать курьера в чужие края?

⁴ В Семилетнюю войну (1756–63) русские 11 января 1758 г. заняли Кенигсберг, в Восточной Пруссии.

Немного смутившись перед пытливым взглядом, устремленным на него, и почему-то сознавая, что надо сказать правду, Углов ответил, что, узнав о командировке от своего дяди, сенатора Таратина, он сообщил о ней сенатору Чарушину.

– И никому больше? – спросил Илья Иванович. – Припомните-ка, сударь, мне это надо знать.

Углов вспомнил про встречу с князем Барским, но тут же решил, что не имеет права злоупотребить оказанным ему доверием, и краснея ответил, что ни с кем не говорил о предстоящем путешествии, за исключением вышеупомянутых двух лиц.

Борисовский не настаивал и, проводив посетителя, вернулся в кабинет. Здесь он поспешно и с озабоченным видом сел к письменному столу и, закричав жене, чтобы она распорядилась подогреть самовар и послала за Макашкой, принялся строчить длинное послание – судя по обращению, занявшему около полстраницы, должно быть, к важному лицу; в этом послании он слово в слово повторил весь свой разговор с Угловым. По временам он останавливался, чтобы припомнить то, что ускользало из его памяти, и припомнив продолжал свое донесение с того места, на котором прервал его. Кончил он его следующими словами:

«И хоть оный корнет гвардии Углов, Владимир, сын Борисович, и утверждает, что окромя, как с его превосходительством сенатором Таратиным и с его превосходительством сенатором Чарушиным, ни с кем про командировку не говорил, но, судя по его смущению, а также по известным вашему превосходительству отношениям его к семейству вышепереченного сенатора Чарушина, со старшей дочерью которого он намеревается сочетаться законным браком, что явствует также и из показаний допрошенной девки Марины, позволительно предполагать, что есть еще личности, которым про оную нашу командировку известно, о чем поспешаю вашему превосходительству всепочтеннейше донести».

Окончив это послание и внимательно перечитав его, Илья Иванович вложил его в конверт, надписал адрес и, прежде чем зажечь свечу, чтобы запечатать его, крикнул:

– Макашка!

Дверь бесшумно отворилась, и на пороге появился рослый мужчина средних лет, с заспанным и угрюмым лицом, ничего, кроме лени и тупоумия, не выражавшим, когда глаза его были опущены. Но стоило ему только пристально устремить их на кого-нибудь, как тот, на кого он смотрел, сознавал мощную волю этого увальня и невольно проникался к нему страхом и уважением.

– Лошадь оседлана? – отрывисто спросил Борисовский, принимаясь разогревать сургуч на свечке и не глядя на своего собеседника.

– Готова-с.

– Хорошо. Отвезешь немедленно этот пакет графу и тотчас же скачи назад: мне надо тебя еще в три места послать до ночи. А там, если будет нужно прислать ответ, есть с кем отправить. Едем в четвертом часу, на двух тележках. Он берет с собою лакея.

– Позволю себе заметить, сударь, что вы это напрасно дозволили, – угрюмо проговорил Макашка. – Все равно придется его с полудороги назад отослать...

– Ну и отошлем, если нужно будет, – спокойно и нимало не удивляясь фамильярности слуги, возразил Илья Иванович, запечатывая конверт ловким движением человека, которому дело это привычно. – Ступай, надо поторапливаться: времени осталось немного.

Макашка взял письмо и тяжелыми, медленными шагами вышел по коридору на заднее крыльцо, где ждала его оседланная лошадь. А барин его, притворив за ним дверь, принялся за продолжение своей корреспонденции. Страницу за страницей, лист за листом толстой синеватой бумаги покрывал он своим круглым, четким почерком, аккуратно выводя заранее обдуманнные фразы.

Собирался в путь и Углов. Настроение его изменилось после свидания с его спутником: неожиданное путешествие стало представляться ему в ином свете, чем прежде, – важнее, опаснее и несравненно интереснее. Он объявил своим людям, что, кроме Лёвошки, никто сопровождать его не будет, и приказал в своем присутствии уложить в сундуки вещи поценнее, чтобы снести их в подвал. Владимир Борисович сделал все необходимые распоряжения относительно того, как должны были поступать оставляемые им в доме люди во время его отсутствия, несколько раз повторив, чтобы во всех затруднительных случаях обращаться к дяде, сенатору Таратину. После этого, строго присмотрев за тем, чтобы Лёвошка ничего лишнего с собой не взял, он два раза приказывал ему развязывать мешок и выкидывать то, что казалось ему лишним, Владимир Борисович решил последовать примеру своего спутника и употребить оставшееся у него время на отдых. С этой целью он прилег не раздеваясь на диван в кабинете. Но напрасно старался он заснуть – ему это не удавалось: взволнованные нервы не успокаивались, и представления, одно другого заманчивее, ни на минуту не переставали волновать его воспаленный сильными ощущениями мозг.

Выдался денек, нечего сказать! В год не узнаешь и не перечувствуешь того, что ему довелось испытать сегодня. Что из всего этого произойдет – одному Господу Богу известно, и лучше не загадывать: все равно ни до чего не додумаешься и только понапрасну измучаешься.

Но это мудрое решение было легче принять, чем исполнить. Углов по временам срывался со своего ложа и, ероша себе волосы, бегал взад и вперед по комнате.

Между тем время, хотя и томительно медленно, шло, и потемневшее было на несколько минут небо стало светлеть. На колокольне соседней церкви пробило три, и по улице загромыхал экипаж, все ближе и ближе, пока не остановился у ворот дома.

«Наверно, Борисовский приехал, – подумал Углов, поспешно приводя в порядок свое платье и направляясь к двери в зал. – Он хотел пуститься в путь позже, но, вероятно, какое-нибудь неожиданное обстоятельство заставило его изменить свое намерение», – мелькало у него в уме, в то время как люди его бежали отворять ворота и экипаж въезжал на двор.

Вслед за тем в прихожей раздались поспешные шаги и, к великому изумлению Владимира Борисовича, перед ним очутился князь Барский.

– Я за вами... едемте скорее, – торопливо проговорил он, хватая хозяина за руку и увлекая к крыльцу. – Шляпу и плащ барину! Живее! – повелительно обратился он на ходу к растерявшимся не менее барина слугам.

Лёвошка кинулся со всех ног исполнять приказание, а озадаченный Углов запротестовал только в прихожей.

– Вы с ума сошли! Я не могу отлучаться из дома, за мною сейчас приедут. Оставьте меня! – бессвязно и прерывающимся от волнения голосом заговорил он, тщетно пытаясь высвободиться из крепко державших его рук, в то время как Лёвошка, бессмысленно повинаясь повелению нежданного посетителя, накидывал на барина плащ и нахлобучивал ему на голову шляпу.

– Послушайте, дело идет о спасении женщины... я вас считаю дворянином, – отрывисто прошептал князь на ухо своему пленнику, не выпуская его руки из своей и до боли сжимая ее. – Менее чем через час вы будете дома...

Эти слова возымели желанное действие. Углов, которого гораздо больше удивляло, чем сердило, новое приключение, молча последовал за князем и сел рядом с ним в карету, которая тотчас же пустилась в путь.

Первое, что он заметил, оглянувшись по сторонам, был полнейший мрак, окружавший их со всех сторон. На крыльце было так светло, что можно было различать предметы, а тут было темно, как в глубокую осеннюю ночь... без сомнения от тщательно завешенных окон.

– Однако вы, как я вижу, приняли меры, чтобы я не знал, куда вы меня везете, – с досадой заметил он.

– Правда, вы до поры до времени не должны знать это, – сознался его похититель.

– А почему, позволю себе спросить?

– Есть люди, над которыми приходится производить насилие, когда желаешь им добра, и, насколько я вас знаю, мне кажется, что вы принадлежите к числу этих людей, – возразил князь, как показалось Углову, не без иронии.

– А вы мне желаете добра?

– Мне кажется, что я вам уже достаточно доказал это.

Владимир Борисович не возражал.

Карета между тем продолжала катиться, и воображение Углова продолжало работать. Снова прежнее предположение завертелось у него в уме, как самое правдоподобное разъяснение мучившей его загадки: выхлопотав ему командировку, князь считает себя вправе заставить его служить своим целям. Услуга за услугу, значит. Углов находил это весьма естественным, и его раздражали только приемы князя.

К чему такая таинственность и обидное недоверие? Если дело идет о женщине, как он ему сказал, то ведь можно положиться на его скромность. Не в первый раз случалось ему помогать товарищу похитить девицу из дома жестоких родителей или отвлечь ловко затеянной ссорой внимание ревнивого супруга, чтобы дать время любовнику побеседовать с избранницей сердца. Без сомнения, князь Барский потребует от него нечто в этом роде. А может быть, что-нибудь и поважнее? У князя был решительный вид, и его голос звучал торжественно, когда он счел себя вынужденным дать своему пленнику объяснение, заставившее этого последнего беспрекословно повиноваться ему.

Углов был далеко не трус, и эти соображения скорее возбуждали в нем энергию, чем опасения. Ему было только досадно, что он пропустил момент, чтобы, следя за направлением кареты, узнать, куда именно его везут; но, когда он вспомнил про это, экипаж уже столько раз поворачивал вправо и влево, что не было никакой возможности догадаться, в какую сторону города они направляются. Наконец, судя по тому, что под колесами перестал гроыхать булыжник и дорога стала несравненно мягче и ровнее, Владимир Борисович догадался, что она катится по убитой щебнем аллее, должно быть, очень длинной, потому что прошло минут пять, прежде чем она остановилась.

– Ну, вот мы и приехали, сударь мой, – сказал князь, опуская окно, в которое Углов поспешил выглянуть через его плечо, причем увидел при белесоватом свете занимавшейся зари, что они стоят перед чугунной решеткой сада. – Сейчас вы узнаете, кто та личность, которая пожелала видеть вас, – продолжал князь, обращая к нему свое красивое, побледневшее лицо с твердым взглядом больших серых глаз, опущенных темными ресницами. – Но я прошу вас, сударь, дать мне честное слово русского офицера и дворянина, что вы последуете за мною, не оглядываясь по сторонам и не отставая от меня ни на шаг. Предупреждаю вас, – продолжал он, понижая голос и приближая к нему свое лицо так близко, что Углов почувствовал его горячее и прерывистое дыхание, – что при малейшей вашей неосторожности произойдет такой ужасный скандал, что я буду вынужден проколоть себе грудь этой шпагой, – прибавил князь, хватаясь за рукоятку шпаги, приподнимавшей его широкий, подбитый алым бархатом, черный плащ.

Углов поспешил исполнить это желание, и его спутник, учтиво поблагодарив, выпрыгнул из кареты.

Владимир Борисович последовал его примеру. Карета отъехала, и, должно быть, куда-то далеко, потому что, когда они дошли до чугунных ворот, которые князь отпер ключом, вынутым из кармана, и Углов, прежде чем пройти за ним в сад, оглянулся на двор, окружен-

ный стенами с наглухо заколоченными окнами, при этом дворе никого, кроме них, не было. Кругом было так тихо и пусто, что можно было вообразить себя за сто верст от города.

Впрочем, долго осматриваться и размышлять не пришлось: князь так поспешно шагал по аллеям, поворачивая то вправо, то влево, что только мельком можно было разглядеть клумбы, беседки, мраморные скамьи, мимо которых они не останавливаясь проходили. Наконец они вышли на круглое пространство, окруженное с трех сторон столетними дубами и вязами и красивым строением затейливой архитектуры с четвертой. Посреди был бассейн. Дом, напоминавший своей архитектурой древний храм, посвященный мифологической богине, был украшен белыми колоннами, между которыми чернелись впадины окон, длинных и узких, с разноцветными стеклами.

Тут было так же тихо, как и в остальной части сада. Углов невольно оглянулся на своего спутника, но тот продолжал пробираться вперед, стараясь ступать как можно тише, осторожно придерживая шпагу запахнутым плащом.

Невольно следуя его примеру, Владимир Борисович решил не беспокоить его расспросами, тем более что теперь недолго было уже ждать развязки таинственного приключения, и молча проследовал за своим спутником до террасы, спускавшейся к бассейну.

Тут князь остановился, внимательно оглянулся по сторонам. Затем, попросив Углова подождать его, он стал прокрадываться вдоль стены до крайнего окна; потом он поднялся к последнему, прыгнув за выступ колонны, и, приблизив лицо к стеклу, внимательно смотрел, выжидая, может быть, условного знака.

Это продолжалось довольно долго. Вдруг в доме поднялось движение, мимо окон пробежала тень и мелькнули тотчас же скрывшиеся огоньки. Князь соскочил с приступка и скрылся за углом дома в кустах, окружавших его.

Снова воцарилась прежняя мертвая тишина, прерываемая только робким чириканьем птиц. Небо все ярче и ярче окрашивалось пурпуром восходящего солнца, день обещал быть теплым и ясным, и замкнутость молчаливого дома казалась еще таинственнее и мрачнее.

Однако вскоре опять пробежали тени, и замелькали огоньки мимо окон; между колонн растворилась дверь, и на пороге ее появился князь. Углов в два прыжка очутился возле него, и, продолжая хранить молчание, они вместе вошли в дом.

Тут было совершенно темно, как ночью, и, если бы не свет от лампы, спускавшейся с потолка на золоченых цепях, Углову невозможно было бы разглядеть обстановку комнат, через которые он проходил за своим спутником. Впрочем, шли они так быстро и волнение его было так сильно, что, кроме общей роскоши обстановки, он ничего не мог заметить.

– Сбросьте плащ, сударь! – сказал ему князь, когда они очутились перед запертой дверью в конце длинной галереи, увешанной картинами в золотых рамах.

Углов повиновался.

Князь растворил дверь и вошел в комнату, показавшуюся его спутнику выше и красивее предыдущих. Здесь сильно пахло цветами.

Прямо против той двери, в которую они вошли, была другая, и на пороге ее стояла женщина в белом. Князь поспешно направился к ней, а за ним и Владимир Борисович.

– Ваше высочество, корнет Углов, – произнес с низким поклоном Барский, отступая к окну и оставляя таким образом его одного перед великой княгиней Екатериной Алексеевной.

Но Углов не вдруг узнал ее – так мало она была похожа на жизнерадостную, остроумную принцессу, которую ему два раза удавалось видеть издали, на выходах во дворец, среди блестящей свиты, сияющей красотой в усыпанном драгоценными камнями наряде. Теперь перед ним стояло неземное существо, напоминавшее скорее богиню меланхолии и печали, чем блестящую цесаревну, будущую императрицу.

И насколько эта казалась ему прелестнее той! Бледное лицо без румян, с глубокими, темными глазами, смотрело на него с таким пытливым и вместе с тоскливым выражением, что ему стоило невыразимых усилий, чтобы не упасть перед нею на колена.

Должно быть, цесаревна прочла это на лице молодого человека: ее губы тронула улыбка, от которой все ее лицо на мгновение просветлело, и она ласково сказала, протягивая ему запечатанное письмо:

– Благодарю вас, господин Углов, что не замедлили явиться на мой зов. Вы можете оказать мне услугу, передав по адресу это письмо, когда будете в Париже.

Владимир Борисович с низким поклоном взял письмо.

Между тем великая княгиня продолжала:

– Если так случится, что вы в Париж не попадете, привезите это письмо обратно.

Углов опять низко наклонил голову.

– Но, если вы увидите личность, которой оно адресовано, скажите ей, что вы меня видели, что я сама вручила вам это письмо для него, что он может через вас написать ответ, и пусть он за меня не беспокоится. Я здорова и, ни на что не взирая, хороших мыслей, – прибавила цесаревна с особенным ударением на последних словах.

Углов пристально смотрел на нее, мысленно повторяя каждое ее слово. Весь превратившись в слух, он ждал, что скажет она еще, но аудиенция кончилась. С милостивой улыбкой протянула великая княгиня ему руку, которую он с благоговением поднес к губам, взглянула на князя и, снова обернувшись к Углову, ласково кивнула ему. Когда низко поклонившись, Владимир Борисович поднял голову, ее уже не было в комнате; около него стоял князь и знаком предлагал ему следовать за ним.

Они вышли из дома другим ходом, чем тот, которым вошли в него, опять очутились в саду и прошли широкими аллеями к воротам в решетке, где дожидалась их карета, с лакеем в темной ливрее у дверцы, которую он держал отпертой, и с откинутой подножкой в ожидании дальнейших приказаний.

– Поезжайте с богом, мой друг, вы не опоздали: еще нет пяти часов, – проговорил князь, подходя к карете и движением руки приглашая Углова сесть в нее.

Владимир Борисович молча повиновался. Он не в силах был произнести ни слова от волнения и только крепко пожал протянутую ему руку.

Князь же, не выпуская его руки из своей, поднялся на подножку и, пригнувшись к нему, произнес взволнованным шепотом:

– Мне нечего говорить вам, что все случившееся должно оставаться в глубочайшей тайне между мною, вами и той, которая удостоила вас своим доверием: вы не были бы достойны звания русского дворянина, если бы забыли это. Но считаю своим долгом предупредить вас, что от доставления доверенного вам письма зависит спокойствие великой княгини и что она тогда только перестанет тревожиться, когда узнает, что ее поручение исполнено. Прибавлю к этому, что женщины, несчастнее нашей цесаревны, нет на всем земном шаре и что надо быть бесчувственным, чтобы не отдать с радостью за нее жизнь! Благодарите Бога, сударь, что судьба предоставляет вам случай быть нам полезным, и будьте убеждены, что мы будем здесь блюсти ваши интересы лучше, чем если бы вы имели возможность сами заняться этим. А теперь, чтобы облегчить вам исполнение задачи, даже и в таком случае, если бы вам не удалось вполне благополучно совершить ваше путешествие с курьером иностранной коллегии, я дам вам рекомендацию к одному из моих заграничных приятелей в Германии. Это – человек, с вида весьма скромный, но с таким влиянием в дипломатических сферах, что он может быть вам очень полезен. Доберитесь только до местечка Блукнест, в Баварии, и спросите пастора Даниэля: всякий укажет вам его жилище, все его там знают. Назовите ему мое имя, он примет вас, как родного, и сумеет расчистить вам дорогу всюду, куда бы вы ни пожелали проникнуть.

С этими словами Барский прыгнул с подножки и приказал кучеру ехать, а Владимир Борисович снова очутился в темноте. Но на этот раз он этого не замечал. Скорбный образ цесаревны продолжал стоять перед его глазами, а голос ее, невыразимо приятный, продолжал звучать в его ушах, затмевая и заглушая все прочие образы и звуки. В уме настоятельно вертелся один вопрос: «Как скрыть от всех глаз доверенное ему письмо?» Казалось, что счастье не только земной, но и загробной его жизни зависит от благополучного решения этой задачи.

Молодой человек был так поглощен своей новой миссией, что опомнился тогда только, когда карета остановилась перед крыльцом его дома и он увидел перед собой глупо ухмылявшееся лицо своего камердинера.

– Что случилось? – спросил Владимир Борисович, поспешно входя в зал и не переставая придерживать карман с драгоценным письмом, под которым билось его сердце.

– Ничего-с, – не без смущения ответил Лешка.

– Был тут без меня кто-нибудь?

– Были-с, – объявил Лешка.

– Как же ты говоришь, что ничего не случилось? – воскликнул бледный Углов.

– Да ничего и не случилось, сударь... Прибегала только девка от Чарушиных господ, с письмом от барышни. Днем-то ей, вишь, недосуг было урваться, так она чуть свет, пока в доме никто не проснулся, – прибавил он с усмешкой.

Барин вздохнул с облегчением. Только письмо от Фаины! Его опасения, слава богу, были напрасны! За ним не подсматривали, его не проследили, обыскивать его не станут, и ему на этот раз не придется защищать до последней капли крови вверенное ему сокровище. Но надо запрятать его в более надежное место; надо так устроить, чтобы не расставаться с ним ни днем, ни ночью... никогда!

Владимир Борисович прошел в кабинет и велел принести иголку с нитками; когда ему подали требуемое, он заперся на ключ и, отрезав от полотенца, висевшего на стене, кусок холста, зашил в него вынутое из кармана камзола письмо, предварительно поцеловав печать и взглянув на надпись: «Au sieur Godineau. Paris. Marais. 16». Затем, крепко-накрепко прицепив импровизированную сумку к цепочке с крестом и к ладанке с мощами, висевшей у него на шее, надел камзол, мысленно давая себе слово, тотчас по приезде в большой город, заказать для своего сокровища мешочек из кожи. Теперь нечего было об этом думать – времени оставалось так мало, что надо было благодарить Бога за то, что и таким образом удалось запрятать письмо.

Не успел Углов застегнуть последнюю пуговицу камзола, как на двор въехали две тележки, запряженные тройками, по наружному виду ничем не отличавшиеся одна от другой. С первой из них соскочил Илья Иванович, а на второй продолжал сидеть, неподвижно и ни на кого не глядя, Макарка.

Углов так заторопился навстречу своему спутнику, что пробежал не оборачиваясь мимо стола, на котором лежала записочка Фаины.

– Ну что? Готовы? – приветливо улыбаясь, спросил Илья Иванович. – Ничего не забыли? Все распоряжения сделали?

– Я готов, – ответил Углов, невольно отвертываясь от пылко устремленных на него глаз. – Вот только это и беру с собою, – прибавил он, указывая на чемодан, который один из слуг выносил на крыльцо, – да лакей мой берет мешок с разным домашним скарбом.

– Отлично! А деньги куда вы спрятали, сударь?

– Деньги? – переспросил Углов.

В своем волнении и в хлопотах он забыл про кошелек с золотом, засунутый под подушку, и побежал в спальню. Эта подробность не ускользнула от внимания Ильи Ивано-

веча, он, сосредоточенно сдвинув свои синие, гладко выбритые губы, до тех пор смотрел на дверь, пока Владимир Борисович снова в ней не появился.

– А это что такое у вас, сударь? – спросил Борисовский, указывая на записку, которую Углов мимоходом через кабинет захватил со стола и продолжал держать в руке, думая о другом.

– Записка от приятеля. Прочту дорогой, – ответил корнет, небрежно засовывая записку в боковой карман.

Илья Иванович лукаво усмехнулся.

– Не от приятельницы ли? – добродушно пошутил он, но тотчас же, словно раскаявшись в своей неуместной шутке, поспешил заявить, что пора ехать, и направился к выходу.

Между тем у крыльца люди Углова хлопотали у тележек. Лешка засовывал свой мешок в ноги Макарке, который продолжал сидеть идиотом, не принимая ни малейшего участия в происходившей вокруг него суматохе, и равнодушно на всех поглядывал из-под надвинутого на лоб большущего козырька дорожной фуражки.

С недоумением посматривая на него, Лешка спрашивал себя: «Чем такой вялый, неповоротливый черт может быть полезен своему барину в дороге?» Однако, когда, запихнув в ноги «идола» мешок, он повернулся, чтобы идти с чемоданом к другой тележке, Макарка окрикнул его:

– Эй, ты, ловкач, куда с чемоданом-то попер? Давай его сюда!

– Барин велел к нему положить...

– Давай сюда! – повторил его будущий товарищ так грозно, что ноги Лешки сами собою зашагали к тележке, от которой он только что отошел, а руки покорно протянули увальню чемодан.

Макарка привстал, порывшись под сиденьем, не оглядываясь вырвал протянутую ему ношу из рук оторопевшего Лешки и опустил ее так глубоко, что, когда снова уселся на прежнее место, никто не сказал бы, что под ним находится весьма объемистый предмет.

– Готово? – закричал с крыльца его господин.

– Готово-с, – отозвался глухим басом слуга.

– Ну, с Богом! Усаживайтесь покойнее, сударь. Подушку вашу можете в ноги себе положить, у нас экипаж к продолжительным путешествиям приспособлен, – распространялся Илья Иванович, опускаясь на мягкое сиденье рядом со своим спутником.

Владимир Борисович перекрестился, и лошади тронули среди громких пожеланий доброго пути и скорого возвращения провожающих.

Илья Иванович с довольным видом заметил, что им удалось выехать раньше, чем он рассчитывал.

– Это я за хороший знак считаю, сударь. Опоздать, по-моему, все равно, что с попом повстречаться: такие тебе пойдут препятствия во всем, что ни за что потерянного времени не наверстать, – прибавил он, в то время как лошади, завернув за угол переулочка, где был дом Углова, дружно побежали по пустой и молчаливой улице, залитой лучами восходящего солнца.

III

Владимир Борисович очень скоро освоился с новым своим положением путешествующего по казенной надобности. Только в первые дни страдал он от толчков и ухабов да от невозможности, с непривычки, спать сидя, как его спутник; но мало-помалу он привык к этим неудобствам и без особенного сожаления отказался от удовольствия попариться в бане, топившейся на постоялом дворе, к которому они подъехали на седьмой день по выезде из Петербурга и где им весьма любезно предложили воспользоваться ею.

Предложение было так заманчиво, что, несмотря на необходимость торопиться, Илья Иванович не в силах был против него устоять.

– Ничего так не полезно дорогой, как баня, – уверял он своего спутника, советуя ему воспользоваться случаем попарить разбитые кости по-русски. – Как рукой, всю боль снимет.

Но у Углова были веские причины отказываться от этого предложения: до сих пор ему удалось скрыть от всех глаз письмо, висевшее у него на шее вместе с крестом, и он с радостью готов был вынести всякие неудобства, лишь бы добраться до границы благополучно. Кроме того, он до сих пор не удосужился прочитать записку Фаины, и это не на шутку раздражало его.

Если в первые минуты после свидания с великой княгиней восторженное умиление сознавать себя хранителем тайны такой высокой особы заглушило в Углове все прежние чувства и мысли, то, по мере того как он привыкал к своему новому положению посланца цесаревны, эти чувства начинали оживать в его сердце, и вопрос, о чем могла ему писать коварная девушка, отвернувшаяся от него, когда его постигло несчастье, – все назойливее и назойливее навертывался ему на ум. Невольно приходило в голову, что он, может быть, напрасно обвинял Фаину в измене. Разве она свободна поступать так, как ей хочется? Разве она смеет послушаться матери? Она, может быть, была поставлена в невозможность сойти сверху, когда он томился один в зале, терзаясь незаслуженным оскорблением и сомнениями насчет ее любви? Крутой нрав Анны Ивановны был известен, и если, несмотря на строгое запрещение его видеть, Фаина решилась-таки прибежать в коридор, чтобы взглянуть на своего милого, в надежде, что он ответит любовным взглядом на ее взгляд, то не доказывает ли это, что она к нему равнодушна и страдает не меньше его от беды, обрушившейся на его голову? И наконец это письмо, посланное, – легко себе представить, – с каким страхом и опасениями! За такое преступление против всех правил девической чести и светского приличия, ее могли сослать в дальнюю деревню. Сенаторша Чарушина шутить своею материнскою властью не любила. Углову это было лучше известно, чем кому-либо: ведь он всю эту зиму был принят у них в доме, как свой человек.

Однако эти размышления не мешали Владимиру Борисовичу в то же время думать о поручении, которым удостоила его цесаревна, и о затруднениях, которые ему придется преодолеть, если в маршрут его спутника не войдет столица французского государства. Но узнать про это зависело не от него, тогда как, чтобы узнать содержание письма Фаины, надо было только остаться минут на десять одному.

И вот, благодаря кстати подвернувшейся бане, случай представился. Не успел Илья Иванович с Макалкой и Лешкой скрыться за дверью избы, из которой валил густой дым, как Углов заперся в полутемном чулане, и, вскарабкавшись на опрокинутую кадку из-под капусты к отверстию под самым потолком, распечатал записку Фаины и прочел следующие строки:

«На Вас извет, что Вы родились не в законе и не имеете прав на имя и на состояние своих родителей. Я знаю это от тетеньки Марфы Андреевны. Злодей Ваш живет в Париже, зовут его Паулуччи, и он состоит секретарем при важном и близком к королю графе. Мне

очень стыдно писать Вам потихоньку от родителей, и прошу Вас не осуждать меня за это. Да хранит Вас Бог! Еще скажу Вам, что государыня, и тетенька, и папенька, и все за Вас... и не верят клевете».

Можно себе представить, в какое волнение и отчаяние ввергло это письмо бедного Углова! Хорошо, что он ознакомился с его содержанием на седьмой день после отъезда из Петербурга! Вряд ли он был бы в состоянии сопровождать Борисовского за границу, если бы раньше узнал, в чем, собственно, дело! Вот почему дядя не сказал ему всей правды!

Владимир Борисович начинал теперь понимать, почему и у Чарушиных так избегали принимать его. Как он это и раньше смутно предчувствовал, опасность грозила не одному его состоянию, а также его чести, как дворянина, и доброму имени его родителя. И, сколько он не перечитывал письмо Фаины, не припоминал сказанное ему дядей, а также обещание, данное ему Барским – не от одного своего имени, без сомнения, – все это мало успокаивало его, и убеждение, что никто, кроме него самого, не может заставить смолкнуть клеветников и разрушить их козни, с каждой минутой все больше и больше росло и крепло в его душе.

Как разумно поступила Фаина, уведомив его, что враг его находится в Париже! Только любящее сердце могло предугадать так верно, что именно ему нужно в настоящее время! О, как он ей был благодарен! Как он любил ее и как клялся самому себе посвятить всю жизнь ее счастью, если Господь поможет ему одолеть злую судьбу!

Углов все еще стоял среди чулана с запиской в руках, погруженный в свои думы, когда в дверь постучались с известием, что лошади давно запряжены и что пора ехать. Поспешно вышел он на крыльцо и, учтиво извинившись за то, что заставил себя ждать, поспешил занять свое место в тележке, и та немедленно тронулась в путь.

Владимир Борисович привык владеть собой, и догадаться о новом ударе, постигшем его, можно было только по его бледности; но Борисовский все с любопытством исподтишка поглядывал на него, ворча сквозь зубы на упрямство молодых людей, всегда поступающих по-своему, вместо того чтобы следовать советам старших.

– Говорил я вам попариться в баньке, объяснял, что это – самое лучшее средство против усталости; не захотели меня слушать – вот и мучьтесь теперь головной болью до приезда. Нечего отнекиваться, – прервал он протест, готовый сорваться с языка его слушателя, – на вас лица нет; сейчас видно, что голова у вас трещит и члены ноют. Ну, сами виноваты, приходится терпеть. Хорошо еще, что недолго: до вечера до границы доедем, а там уж волей-неволей придется ждать – дилижанс раньше завтрашнего дня не придет.

Углову было не до того, чтобы прислушиваться к болтовне своего спутника, но он был благодарен ему за то, что тот каждым своим словом доказывал ему, что не подозревал настоящей причины его расстройства, и представлял его самому себе, не добиваясь от него ни опровержения, ни подтверждения догадок на его счет.

Все чаще и чаще попадались путешественникам населенные местечки, непохожие на те, которые они оставляли за собою. Погода изменилась, воздух был значительно мягче и теплее, деревья были в зелени и даже в цвету. Еще накануне Углов, между попадавшимися им на пути поселянами, заметил людей в одеждах, непохожих на русскую и разговаривавших между собою на непонятном наречии, и с любопытством убеждался, насколько люди эти опрятнее и учтивее русских. Когда же они стали подъезжать к пограничному местечку, где в последний раз имели дело с представителем русской власти в лице безрукого майора, начальника пограничной стражи, и Углов увидел за скромным домом с развевающимся на крыше русским флагом зеленые поля немцев, у него забилося сердце от волнения, и он на время забыл все свои опасения и заботы, чтобы думать только о диковинках, которые ему предстоит видеть, и о новых интересных ощущениях, которые ему предстоит испытать.

Борисовский был коротко знаком с безруким майором, выбежавшим к ним навстречу с приветливым лицом; они крепко обнялись. Борисовский представил майору своего спут-

ника, тот приветливо пригласил Углова ужинать, а затем приятели вошли в дом, Владимир же Борисович остался на крыльце.

Левашка с Макашкой вынули вещи из тележек и внесли их в дом; тележки отъехали во двор; у подъезда никого не осталось. Наступавшая ночь начинала заволакивать окрестность; кое-где зажигались огни в домах, становилось свежо, а Углов все не трогался с места, вглядываясь в окружающие его предметы и с изумлением спрашивая себя:

«Неужели то, что мне предстоит видеть, будет еще чуднее, еще менее похоже на русское и родное, чем это?»

По обсаженной высокими деревьями длинной и прямой улице, между рядами домиков с зелеными крышами и ставнями, со стенами, сплошь увитыми каприфолией и жасмином, прогуливались нарядные женщины. За ними следовали, прячась в тени деревьев и, видимо, смущаясь его присутствием, семь русских солдатиков, а через улицу, подняв высоко от пыли длинные полы грязных лапсердаков, суетливо перебежали взад и вперед, от дома начальника пограничной стражи к другому с вывеской: «Цум шварцен Адлер»⁵, евреи с бутылками в руках.

Один из них, давно уже с любопытством оглядывавший Углова, подбежал к нему с предложениями услуг:

— А какое пиво изволит кушать его сиятельство? Баварское или саксонское? А, может быть, его сиятельство больше любит вино? Могу рекомендовать его сиятельству французское, а также кипрское и испанское... Не нужно ли его сиятельству хорошего голландского полотна на сорочки? — продолжал он, таинственно понижая голос и пригибаясь так близко к Углову, что последний отодвинулся. — На днях здесь поймана шайка контрабандистов с заграничными товарами; двух повесили, но они успели передать товар в надежные руки, — продолжал он, лукаво ухмыляясь. — Могу услужить его сиятельству наилучшей помадой и пудрой, прямо от поставщика знаменитой госпожи Помпадур, — прибавил он, умильно прищуривая свои масляные глаза. — Есть также у меня и кружева, которые я уступил бы его сиятельству за бесценок. Какие кружева! Ах, как будут они нужны его сиятельству, когда он будет представляться ко двору! Ах, как будут нужны! Я мог бы даже уступить его сиятельству кусок лионского бархата небесного цвета, точно такого, как тот, в котором герцог Ришелье был на последнем балу в Версале...

Еврей долго жужжал бы над ухом Углова, если бы последний не отвернулся от него и не вошел поспешно в дом.

Там он застал слуг, готовивших стол к ужину, и, спросив у одного из них, где находится отведенная для него комната, прошел длинным коридором в опрятную горницу, где Левашка готовил ему постель.

От него Владимир Борисович узнал, что их опередил курьер из военной коллегии, выехавший из Петербурга сутками позже их и оставивший на имя Ильи Ивановича пакет с депешами, — должно быть, очень важными, потому что последний тотчас же принялся разбирать их и сидит теперь за письменным столом, будучи погружен в чтение и по-видимому совершенно забыв обо всем остальном.

— Он про меня не спрашивал? — осведомился Углов, снимая кафтан и подходя к кадке с водой и с большим медным тазом, чтобы умыться.

— Один только раз и спросили, а когда я хотел бежать к вам, приказали вас не тревожить, а только доложить им, когда вы сами пожалуете в дом, — ответил Левашка, подавая барину полотенце. — Ужин еще не готов, ждали нас раньше... Здешние рассказывают, тот курьер, что нас обогнал, все приел, что вчера для нас было заготовлено; один целую миску щей уплел, а жаркое — индюшку с парой уток — с собою взял, и вино, что для нас было припасено, все

⁵ «Черный орел».

выдул. Уж на что этот черт Макарка – ловкач жрать, а до этого ему далеко! Зато и скачет же анафема! Сутками после нас выехал и сутками раньше нас приехал! Кратчайшей дорогой, говорит, поехал, на двести верст ближе, чем мы, потому мы с ним нигде и не повстречались. А только и бесстрашный же! По той дороге есть лес, кишит разбойниками, по нем даже контрабандисты боятся проезжать, а ему ничего.

Умывшись и оправив свой костюм, Углов отправился в комнату своего спутника. Потому ли, что душа его была еще в смятении от известия, вычитанного в записке Фаины, или потому, что близилась минута, когда ему предстояло заняться выполнением возложенного на него поручения, так или иначе, но нервы его были так возбуждены, что все казалось ему дурным предзнаменованием, и сердце его жутко замирало при мысли о депешах, полученных его спутником. Никак не мог он отделаться от подозрения, что дело идет о нем в этих депешах, и ему так хотелось скорее все узнать, что, найдя дверь в комнату Ильи Ивановича запертой на ключ, он тем не менее постучался в нее, сначала тихо, затем, подождав немного, сильнее. Стул с шумом отодвинулся, и раздались поспешные шаги по направлению к двери, в которую он продолжал стучать.

– Кто там? Что надо? – спросил с раздражением Борисовский.

– Это я, вы меня спрашивали.

– Владимир Борисович? Да, да, я хотел вам сказать... Подождите немножко, сударь, дайте мне закончить письмо, которое я сейчас должен отправить. Одну минуту попрошу вас подождать, сударь.

С этими словами он удалился от двери, и Углов услышал шорох перелистываемых бумаг, шум выдвигаемых ящиков, звон ключа, поворачиваемого в замке, а вслед за тем, минут через пять, ему отворили и попросили его войти.

– Раньше завтрашнего утра нам двинуться в дальнейший путь невозможно, я должен отправить ночью ответ на полученные предписания, – начал Илья Иванович, затворив за собою дверь и отходя со своим спутником в дальний угол комнаты, к крайнему окну, выходявшему в сад, где, судя по тишине, царившей в нем, а также по тому, что деревья и кусты точно замерли в неподвижности, некому было их подслушать. Но Илья Иванович был из тех, которые подозревают, что и у деревьев есть уши, и говорил так тихо, что уже по одному этому собеседник мог догадаться о важности того, что он намеревается ему открыть.

– В этом предписании речь идет о вас, сударь, – продолжал он, пытливо глядя на молодого человека. – Мне приказано кое о чем допросить вас. Я льщу себя надеждой, что в эту неделю, проведенную с вами неразлучно, я настолько заслужил ваше доверие, что вы поймете, что я вам зла не желаю и что для вас же будет лучше, если вы от меня ничего не скроете. Поверьте, я сумею отличить увлечение молодости от преступной преднамеренности и в настоящем свете представлю все дело пред теми, от коих зависит ваша судьба, – прибавил он, не спуская со своего слушателя пристального и пытливого взгляда.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – возразил Углов, сдерживая волнение.

– Не понимаете? – с иронической улыбкой переспросил Борисовский. – В таком случае будем говорить начистоту: мне приказано узнать, куда возил вас князь Барский за два часа до нашего отъезда?

Углов ждал этого вопроса, тем не менее у него захолонуло сердце от ужаса; но в уме его продолжали возникать и развиваться мысли, одна другой решительнее и так мало похожие на те, с которыми он жил до сих пор, что ему казалось, что какая-то посторонняя сила управляет его волей, внушая ему не только слова, которые он произносил, но и движения, которыми он сопровождал эти слова.

– Я не считаю вас вправе, сударь, предлагать мне вопросы, касающиеся моей частной жизни, – ответил он с достоинством, приподнимаясь с кресла и продолжая разговор стоя.

Борисовский, стиснув губы, что было у него признаком сдержанного гнева, нагнулся к столу, отпер один из ящиков в нем и, вынув из него сложенную вчетверо бумагу, подал ее ему.

– Вам, может быть, угодно прочесть предписание, в силу которого я позволяю себе предлагать вам такие неприятные вопросы? – произнес он, меняя тон на строго официальный.

Владимир Борисович с легким поклоном взял бумагу и внимательно ее прочел.

Борисовский сказал правду: это был приказ допросить корнета Углова до выезда их за границу о том, куда возил его такого-то числа и в таком-то часу князь Барский и с какою целью. Но вместе с тем из прочитанного предписания Владимир Борисович понял также, что тем, от кого шло это предписание, ничего не было известно, кроме того, что князь Барский за ним заезжал и куда-то его возил. И это убеждение придало ему бодрости.

– Что же вы на это скажете? – спросил Илья Иванович, когда, прочитав бумагу, Углов сложил ее и подал ему обратно.

– То же самое, что сказал вам раньше.

– Вы не желаете быть со мною откровенным?

– Не желаю и нахожу, что никто не имеет права требовать от меня большего, чем то, что предписывает мне долг чести и присяги.

– Вы поступаете опрометчиво, молодой человек, и будете раскаиваться в этом, – строго произнес Борисовский.

Углов промолчал.

– И, к моему величайшему сожалению, я должен предупредить вас, что, если вы будете упорствовать, я принужден буду продолжать свой путь один, а вас отправить, под надежным конвоем, немедленно в Петербург. Там будут счастливее меня и заставят вас сказать то, что вы не хотите доверить мне.

– Я и там скажу то же, что и здесь, – объявил Углов.

– Как вам будет угодно, но вы теперь сами должны понимать, что употреблять вас на царскую службу мне уже невозможно. Мы не можем доверять человеку, который нам не доверяет, – прибавил Илья Иванович, в свою очередь поднимаясь с места. – Мне вас очень жаль, сударь. Пред вами открывалась блестящая карьера. Вам предстояла возможность доказать вашу преданность нашей всемилостивейшей императрице...

– Моя преданность государыне остается неизменна, сударь, и я никому не позволю сомневаться в этом! – запальчиво произнес Углов.

Тут Борисовский снова переменил тон на прежний, добродушный, и начал уверять Владимира Борисовича в том, что он успел привязаться к нему во время пути и что ему очень жаль, что им не суждено вместе и сообща послужить отечеству.

– Я льстил себя надеждой, что мы не в последний раз отправляемся за границу с секретными поручениями от императрицы, я радовался быть с вами во всех отношениях полезным своею опытностью, советами и всем, чем только могу, – продолжал он с чувством. – Мне вас так жаль, сударь мой, что я никак не могу примириться с мыслью, что вы не измените своего решения, и даю вам время на размышление. Депеши мои еще не готовы, и после ужина я за них снова примусь, а вы тем временем обдумайте мои советы и помолитесь Богу. От всей души желаю, чтобы Господь вразумил вас на мудрое решение порвать с человеком, который поставил вас в несносное положение. Князь Барский не достоин ни вашего уважения, ни сострадания; он самым бессовестным образом ответил на милости, которыми осыпала его государыня, и, чем бы посвятить всю свою жизнь на служение ей, якшается с врагами своего отечества и всеми своими словами и поступками позорит имя славных своих предков. За ним уже давно учрежден тайный надзор, а равно за всеми, кого он вовлекает в свою партию...

Эти слова были произнесены Борисовским в виде напутствия Углову, когда они вместе подошли к двери комнаты, которая была предоставлена в распоряжение последнего и в которой он, так еще недавно, оставил Лешку, готовившего ему постель. Теперь тут никого не было, и можно было различать предметы только благодаря лунному свету, проникавшему сквозь ветви деревьев.

Предварительно заперев дверь за своим пленником, Борисовский удалился, и Углов остался один. Убедившись, что подсматривать за ним и подслушивать некому, он с глухим стоном повалился на кровать. Отнять у него всякий выход из печального положения; судьба поманила его мимолетной удачей, чтобы почти тотчас же ввергнуть в пучину бедствий, еще хуже и безнадежнее той, в которой он метался перед свиданием с цесаревной.

Теперь только понял Владимир Борисович, чем было для него это свидание! Каким щитом служило данное ему поручение против личных его невзгод! Как далеко отошло все, чем он мучился до той минуты, когда в его жизнь неожиданно вторглась забота об оправдании доверия, оказанного ему супругой наследника престола.

Это доверие так возвышало его в собственных глазах, что он не иначе, как с презрением вспоминал о злодеях, строивших козни против его чести и состояния. Если клевета не запачкала его в глазах такой высокой особы, то не доказывает ли это бессилие и явную гнусность клеветников?

Молодой корнет не говорил себе, что новая покровительница сумеет защитить его, что человека, которого она отличила, не посмеют невинно преследовать; он не останавливался на последних словах князя Барского, на его обещании не забывать его и блюсти его интересы. Рассчитывать на это претило Углову, как умаление чувства безграничной преданности, с которым он шел, в радостном экстазе, навстречу всевозможным затруднениям и опасностям. Но тем не менее и это упование таилось в глубине его души, так что теперь к его отчаянию быть лишенным возможности исполнить данное ему поручение невольно примешивался ужас при мысли о позорной обстановке, при которой ему суждено вернуться в столицу. Позор, ожидавший его, был так велик, что при самом благоприятном обороте дела ему останется только бежать в деревню на всю жизнь и забыть всякие мечты о каких бы то ни было честолюбивых замыслах. А ему было только двадцать два года, он был любим, и жизнь его только что начиналась.

Не лучше ли, не дожидаясь худшего, покончить с собой.

Но эта мысль только промелькнула в голове Владимира Борисовича, и он испугался — не смерти, нет, а того нравственного падения, в которое ввергло его отчаяние. Неужели Господь совсем отступился от него? Неужели он должен погибнуть безвинно, не узнав даже имени своего врага, не отмстив за себя и за родителей?

Снова начал Углов размышлять о том, что произошло, и, чем ярче воскресали в его памяти подробности достопамятного дня, предшествовавшего его выезду, тем яснее сознавал он связь направленных против него преследований с кознями против великой княгини и опасность положения, в котором он оказался. В его лице преследуют слепое орудие сторонника цесаревны, князя Барского. Это было ясно, как день, так же ясно, как недомолвки и намеки, к которым он так небрежно относился, вращаясь в обществе блестящей столичной молодежи. Теперь молодой человек понимал значение таких слов, как «партия цесаревны» и «партия цесаревича», «измена Бестужева», «интрига Воронцова» и тому подобные сплетни, занимавшие город.

Товарищи не стеснялись с ним и, может быть, умышленно заводили при нем разговоры о том, что ждет Россию в случае кончины императрицы. Возбудить в Углове любопытство к такого рода опасной затее, как государственный переворот, никому до сих пор не удавалось: он был слишком легкомыслен и беспечен, слишком привязан к светским удовольствиям, чтобы рисковать своим счастьем и спокойствием ради честолюбивых замыслов,

цель которых была недоступна его пониманию. Тем не менее его не оставляли в покое, и ему вспомнилось странное впечатление, вынесенное месяца два тому назад на вечеринке у братьев Орловых, куда его затащили почти силой и где за ужином все перепились и понесли такую околесицу, что ему стало не по себе, и он непременно уехал бы до конца пира, если бы ноги не отказались нести его. Сам не понимая, как это случилось, опомнился он от тяжелого забытья в отдаленной комнате, на широком диване, в нескольких шагах от окна, у которого разговаривали двое из гостей.

— ...после примирения пошло еще хуже, — произнес вполголоса один из собеседников, — с нею не хотят даже и минуты оставаться наедине, не хотят выслушать ее объяснений.

— А он к Лизавете все больше и больше льнет, — подхватил другой.

— Да, кабы не Лизавета, наша давно бы уехала в монастырь.

— Это всегда успеется. Стеречь надо зорче. Он спит и видит скорее вдовцом сделаться.

— Ну, это ему не удастся, нас много! — воскликнул первый так громко, что второй испугался.

— Тише! — прошептал он и при этом, вероятно, указал на кровать, потому что ему возразили, с обидным для Углова пренебрежением, что такого дурака опасаться нечего.

— Он и трезвый-то ни во что не вникает и дальше своего носа не видит...

Тут, на счастье Углова, кто-то вошел и прекратил неприятное положение, в которое ставила его невозможность прекратить подслушанный против воли разговор. Собеседники покинули комнату, а вслед за тем и Владимиру Борисовичу представилась возможность благополучно выбраться из дома, где почти все гости находились в невменяемом состоянии от французских и испанских вин, которыми угостили их гостеприимные хозяева.

Теперь молодой человек и про этот случай вспомнил, и последний представился ему совершенно в новом свете. Он понимал, что можно было и в трезвом состоянии говорить о печальном положении цесаревны, об опале канцлера Бестужева, о намерении великой княгини удалиться в монастырь и что вся эта затея не допустить великого князя до престола, не так бессмысленна, как представлялась она ему в Петербурге. Понял он также, что обстоятельства так сложились, что ему необходимо решить, за кого стоять: за наследника престола или за его супругу, и что князь Барский обманным образом так далеко завлек его в свой лагерь, что отступление уже невозможно. Но он не выдал бы даже женщины простого звания, доверившей ему свою тайну, а о том, чтобы изменить слову, данному цесаревне, и речи не могло быть.

И снова предстала перед Угловым цесаревна такой, какой он видел ее в ту достопамятную ночь перед своим отъездом, с бледным, печальным лицом, с заплаканными глазами и вымученной улыбкой. И, как тогда, когда он чувствовал на себе ее пристальные взгляд, пылкий взгляд, так и теперь восторженное умиление залило ему душу, и его сердце забилося от страстного желания доказать ей, что он достоин оказанного ему доверия. Не может он не служить ей всю свою жизнь до последнего вздоха. С ним могут делать все, что угодно, замучить его до смерти, — он останется ей верен!

Теперь надо прежде всего позаботиться о том, чтобы доставить ей обратно письмо. Можно себе представить, в какую тревогу повергнет ее его арест!

Владимир Борисович стал ходить большими шагами взад и вперед по комнате, схватив обеими руками голову и сжимая ее изо всех сил, чтобы выжать из нее мысли, но ничего подходящего не наворачивалось ему на ум. Оставалось только одно средство сохранить вверенную ему тайну: уничтожить письмо, сжечь его...

Но как уведомить об этом? И какое имеет он право так поступать, не испробовав предварительно всех средств, чтобы выполнить ее приказание?

И вдруг соображение, страшнее всех прочих, прожгло его мозг: «Что мне делать, если Борисовскому вздумается обыскать меня пред тем, как отправить в путь?»

Чем больше думал он об этом, тем больше убеждался, что именно так случится, и он проклинал себя за недогадливость. Успеет ли он истребить письмо? Надо было высечь огня, а у него для этого не было никаких приспособлений.

Как затравленный зверь, стоял Углов среди комнаты, озираясь по сторонам блуждающим взглядом, не замечая, что уже давно два внимательных черных глаза с жадным любопытством следят за всеми его движениями, прислушиваясь к каждому его слову и стону.

Озабоченность молодого человека придавала соглядатаю смелости. Сначала он смотрел на него издали, вскарабкавшись на скамейку в аллее, как раз против окон пограничного русского дома. Затем он заинтересовался волнением приезжего молодого господина, его беготней из угла в угол, отчаянными жестами, а главное – тем обстоятельством, что он тут терзается какими-то непонятными муками совершенно один, в то время как спутник его ужинает с безруким майором. Тогда любознательный человек, осторожно оглянувшись по сторонам и убедившись, что подсматривать за ним некому – наступила ночь и город опустел, – осторожно и крадучись вдоль стен, чтобы не попасть на пространство, облитое лунным светом, пробрался к окну, перед которым в душевной пытке беспомощно метался несчастный Углов, и, вскарабкавшись на большой камень, поднялся на цыпочках до подоконника. Тут он зацепился за край его крючковатыми, грязными пальцами и запустил взгляд в комнату в ту самую минуту, когда Углов в нерешительности то принимался расстегивать пуговицы своего камзола, то, прислушиваясь к воображаемому шороху в коридоре и с испугом оглядываясь на дверь, снова застегивал их дрожащими от волнения пальцами.

Этого достаточно было человеку, наблюдавшему за ним, чтобы догадаться, что приезжий господин находится в крайне возбужденном настроении и что у него имеются серьезные причины кого-то опасаться и ждать нападения немилосердного и сильного врага.

Прежде чем начать расстегивать камзол, Углов вынул из бокового кармана распечатанное письмо и туго набитый кошелек и положил то и другое на стол. Человек заметил также и это. С сообразительностью, свойственной людям, привыкшим всю жизнь принаравливать к обстоятельствам, чтобы извлекать из них немедленную и наибольшую для себя пользу, он сказал себе, что дольше медлить было бы глупо, что незнакомец не без причины опасается быть застигнутым врасплох. Поэтому, сначала тихо, а затем все сильнее и сильнее, он стал стучать по подоконнику согнутым пальцем, чтобы привлечь на себя его внимание.

Удалось это не вдруг. В первую минуту стук заставил Углова обернуться не к окну, а в противоположную сторону, к двери, и остановиться, одной рукой хватаясь за грудь, а другой – за кинжал.

Про кошелек, лежавший на столе, он и не вспомнил, что убедило соглядатая в мысли, что он боится не за деньги, а за что-то другое. Это убеждение придало ему смелости.

– Господин! Господин! Не бойтесь, это – я! – проговорил он хотя и шепотом, но настолько громко, что Углов подбежал к нему.

В первую минуту он не узнал в голове с пейсами и с сверкавшими умными глазами, опиравшейся подбородком на подоконник, еврея, назойливо предлагавшего ему свой товар в то время, когда он смотрел с крыльца на прогуливающихся по аллее прелестниц, но этот последний поспешил сам отрекомендоваться.

– Не бойтесь, господин! Я – бедный еврей, очень несчастливый человек, от меня вам вреда не будет. Я хочу услужить вашему сиятельству. Я – маленький человек и очень-очень бедный; у меня жена и много детей, всех кормить надо, и для этого много, ох, как много надо работать! Я могу вам услужить, ваше сиятельство, я здесь вырос и всех здесь знаю. Меня и господин майор, как честного еврея, знает, – я приношу ему табак из-за границы... чудесный табак, самый лучший, какой король курит, и никогда лишнего не беру. Я немецкую землю знаю лучше русской, – продолжал он, ободренный молчанием своего слушателя и

внимательным взглядом, которым тот смотрел на него. – Доверьтесь мне, ваше сиятельство! Скажите, чем я могу вам помочь?

У Углова в уме мутилось от новых соображений. Как утопающий хватается за соломинку, чтобы спастись, так и он хватался за решения, одно несообразнее другого, но он отбрасывал их по мере того, как они возникали в его уме. Таким образом остановился он не более секунды на мысли доверить этому еврею письмо цесаревны и отогнал от себя прочь намерение дать ему денег, чтобы тот поскакал с этим письмом к князю Барскому. Однако, когда новый его знакомец упомянул про свои связи за границей, Углов, задыхаясь от волнения и со сверкающими радостью глазами, спросил:

– Ты можешь помочь мне перейти границу?

– Могу, господин, – поспешно закивала голова, смотревшая на него с подоконника снизу вверх.

– Ну, так действуй! Времени осталось немного, нам каждую минуту могут помешать. Мне надо быть за границей, когда они отужинают.

– Будете раньше, господин.

– Получишь за это десять червонцев, – продолжал Углов, но, заметив разочарование, выразившееся на лице еврея, поспешил прибавить, вынимая из кошелька означенную сумму и раскладывая ее на подоконнике: – Это сейчас, а когда доставишь меня до надежного места, я дам тебе еще столько же. Больше не могу, у меня в кошельке всего двадцать два червонца.

Молодой человек говорил правду; все его богатство состояло из двадцати двух червонцев, – но ему казалось, что лучше оставаться на свободе без денег, чем быть привезенным под конвоем, как государственный преступник, в Петербург, чтобы быть заключенным в крепости, хотя бы с двадцатью двумя червонцами в кармане.

– Решайся скорее! – прибавил он, задыхаясь от волнения. – Больше мне дать тебе нечего.

– Сейчас принесу вашему сиятельству переодеться...

– Как это переодеться?

– Ну да! Разве возможно проводить ваше сиятельство через границу иначе, как под видом нашего брата, еврея? Вы наденете платье моего племянника Шмуля, который одного с вами роста и сложения, и я скажу солдатам, что мы идем в город за бочонком вина, выпитым для господина майора. Они часто нас пропускают, потому что им известно, что господин майор всегда обращается к Боруху, когда ему нужно заграничное вино, – прибавил еврей с гордостью.

В то же время он косился взглядом на деньги, сверкавшие на облитом лунным блеском подоконнике так близко от него, что стоило бы только протянуть руку, чтобы ими овладеть. Но у Углова был строгий и решительный вид, а на поясе у него висел такой длинный и, без сомнения, острый кинжал, что если бы даже эта мысль и пришла еврею в голову, то он немедленно отказался бы от нее, как от опасного сумасбродства.

– Ну, действуй скорее! – согласился после минутного колебания Углов, которому этот маскарад далеко не улыбался.

– О, я сейчас! – ответил Борух, соскакивая на землю и со всех ног пускаясь бежать.

Когда он исчез за деревьями аллеи, по которой Углов некоторое время мог следить за его быстро удалявшейся фигурой, согнутой в три погибели, чтобы незаметнее сливаться с кустами, Владимир Борисович снова впал в отчаяние. Не вернется этот новый покровитель вовремя, чтобы спасти его! Эта встреча – не что иное, как новое поддразнивание судьбы, чтобы опять ввергнуть его в бездну уныния.

Опять начал он прохаживаться взад и вперед по комнате, ероша себе волосы и моля Бога, чтобы Борисовский не нагрязнул до тех пор, пока его спаситель вернется с платьем племянника.

IV

В одной из комнат Летнего дворца, обычного местопребывания императрицы Елизаветы Петровны, лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку, молодая девушка и горько плакала.

Она была красиво и нарядно одета в модный костюм, называвшийся французским и состоявший из юбки светлой шелковой материи на фижмах, длинного корсажа на костях, низко вырезанного на груди, прикрытой прозрачной косынкой, с пышными рукавами, доходившими до локтя, и из зеленых башмаков на высоких каблуках. На маленькой, грациозной головке девушки возвышалась такая причудливая и высокая прическа, что она, роста немного ниже среднего, казалась высокой и занимала диван во всю его длину: ее стройные ножки упирались в одну из бронзовых химер, увивавших ручки дивана, а напудренные локоны доходили до другой.

Окна комнаты выходили на внутренний двор, обсаженный деревьями, с клумбами цветов посреди, а обстановка ее представляла собою странную смесь роскоши с простотой, доходившей до грубого убожества. К столу из белого мрамора на вызолоченных ножках приставлен был стул из простого дерева, плохо выкрашенного в красную краску; рядом вычурными креслами заграничной работы, с остатками пожелтевшей от времени обивки из белого атласа, стоял поставец в византийском вкусе, уставленный сборными штучками; рядом с пастушкой из севрского фарфора нагло выпячивался безобразный глиняный утенок-сви-стулька и красовалась расписная деревянная чашка, из-за которой выглядывало одним краешком гнездышко с птичками художественной работы из слоновой кости.

За исключением потолка, расписанного искусным художником, до амуров и богинь которого никакая дерзновенная рука не могла достичь, — так он был высок, все здесь было искалечено временем и отсутствием вкуса. По стенам, обитым вылинявшим штофом некогда малинового цвета, висели в неуклюжих рамках портреты безобразных людей в пестрых одеяниях, с деревянными безжизненными лицами, а над диваном из овальной облупившейся золоченой рамки выглядывало, как живое, прелестное личико с большими синими глазами, оттененными такими темными ресницами, что эти глаза должны были казаться, при известном освещении, совсем черными.

По этим глазам да по улыбке можно было узнать в этом ребенке императрицу Елизавету, сохранившую до преклонных лет то обаятельное выражение во взгляде и в улыбке, которое у нее было в детстве.

Дальше, под наивной лубочной картиной, изображавшей святых, на целую голову выше окружавших их домов и деревьев, с руками воздетыми кверху и достигавшими до лиловых облаков на ярком синем небе, скромно пряталась в потертой деревянной раме копия с Мадонны Мурильо, а еще дальше, в красном углу, между дверью и крайним окном, возвышался массивный киот со множеством образов, перед которыми горела лампада, распространявшая довольно-таки неприятный запах.

У следующего окна находился небольшой стол с рукодельем хозяйки этого жилища, Марфы Андреевны Чарушиной, любимой камер-фрейлины государыни, — начатым чулком из толстой грубой серой шерсти, в простом берестовом лукошке, как те, с которыми деревенские бабы ходят в лес по грибы. К этому столу был придвинут такой же грубый стул с вытертой деревянной спинкой. Сиденье этого стула было снабжено кожаной подушкой, такой жесткой, что трудно было понять, какого рода удобство она представляет хозяйке.

Но эта подушка имела свою историю, которую Марфа Андреевна рассказывала так:

— Тоже затея царицы. Пристала: «Зачем на таком негодном стуле сидишь, когда я тебе так много дорогой мебели пожаловала? Люди могут подумать, что я своих старых слуг не

берегу». И как ни уверяла я ее, что на этом стульце и батюшка мой покойный, и дед – царство ему небесное! – сиживал, ничего в толк не пожелала взять и приказала Венерке хоть от собаки подушку взять да на стул этот положить. Это она на смех сказала про собачью подушку и в тот же день вот этого идола из собственных покоев приказала ко мне принести, – продолжала старуха, указывая на покойное кресло с разными приспособлениями для удобства, скамеечкой для ног, откидным столиком и т. п., стоявшим без употребления в темном углу. – Ну, да ведь и я упряма: за милость, как следует, поблагодарила и ручку поцеловала, а чтобы сесть в это чудище заморское, ни раза не села. И как придумала царица, чтобы мне для спокойствия на собачьей подушке сидеть, так и сижу до сих пор, вот уже шестой год. И до самой смерти просижу, – исполню ее приказ. Царица ведь! Не очень-то с нею, как бывало прежде, станешь спорить да браниться, – прибавляла она с усмешкой, отражавшейся лукавым блеском в ее умных глазах.

Сама Марфа Андреевна всей своей оригинальной фигурой, нравом и умом так подходила к помещению, которое она занимала во дворце, что невозможно было представить ее в другой обстановке, а еще менее эту обстановку без нее. На всем, что окружало эту женщину, равно как и на каждом ее движении и слове, лежал своеобразный отпечаток, и стоило только пробыть здесь, в ее обществе, и послушать ее остроумную речь, чтобы понять, сколько ловкости и душевной гибкости, проницательности и поистине замечательной сообразительности кроется под грубоватой и простоватой наружностью этой женщины, и перестать удивляться безграничному доверию и неизменной привязанности, которые к ней питала царица.

Для тех немногих, которые знали Марфу Андреевну не такой, какой она казалась всем, а такой, какой она была на самом деле, было понятно, что племянница ее, Чарушина, находила отраду и утешение только во дворце у тетки, с тех пор как ее постигло горе, в котором она никому из домашних не осмелилась бы признаться.

Но в тот день Фаина слишком рано приехала к тетеньке: та была у государыни, которая никогда не поднималась с постели без нее и не начинала дня, не поговоривши с нею о делах.

Это было всем известно, и так как решения императрицы приписывали во многих случаях Чарушиной, то у нее было много врагов, и по городу ходили легенды о ее коварстве и пагубном влиянии на государыню. Говорили также про ее грубость и невежество, удивляясь влиянию такой невоспитанной особы, не умевшей даже читать и писать, на остроумную и просвещенную дочь великого Петра; приписывали ей даже и размолвки, возобновлявшиеся в последнее время все чаще и чаще, между членами царской семьи.

Марфу Андреевну в этот день особенно долго задержали у государыни. Посидев несколько времени одна со своими думами, Фаина так расстроилась, что, сама не понимая, как это случилось, бросилась на диван, зарылась лицом в подушку и дала волю душившим ее слезам.

Никто ей не мешал, но она, может быть, воздержалась бы от рыданий и вздохов, если бы догадалась, что есть свидетели ее печали. Из двери в коридор уже раза два выглядывал на нее уродливый карлик в красивой, расшитой галунами, красной куртке, чтобы делиться наблюдениями с высоким негром, тоже в красной ливрее, скалившим белые зубы перед окном, открытым на внутренний двор, а к щелке другой двери, напротив, любимая прислужница ее тетки, хромая горбунья Акулина Ивановна, по прозвищу Венера, с добрыми глазами на уродливом лице, каждые десять – пятнадцать минут подбегала, чтобы удостовериться, что барышня Фаина Васильевна все еще плачет.

Печаль Фаины так заботила добрую горбунью, что она уже раза два бегала через узкий проход в стене, сделанный из апартаментов императрицы в помещение ее любимой камер-фрейлины, и привычной, осторожной поступью неслышно проникала через обширную комнату, установленную шкафами, в уборную, где в зеркале, отражавшем часть соседней комнаты, можно было видеть то, что происходило у парадного серебряного туалета, убранного

драгоценными кружевами за которым императрица принимала придворных дам и кавалеров, в то время как парикмахер-француз убирал ей волосы. В глубине комнаты дежурные фрейлины ожидали на почтительном расстоянии приказаний, которые большею частью передавались им через Марфу Андреевну, стоявшую ближе всех к низкому, обитому пунцовым бархатом, креслу императрицы.

В первый свой приход горбунья тут и застала свою госпожу и, конечно, удалилась, не беспокоя ее, но когда, спустя час, она пришла узнать, почему ее барыня так долго не возвращается в свои комнаты, гардеробщица, вынимавшая платья из шкафов и раскладывая их на больших столах, нарочно для того накрытых белыми скатертями, объявила ей, что государыня вышла в зал с фрейлинами и статс-дамами и рассматривает образцы материй, привезенные из Парижа, прямо с фабрик, где их ткут для королевского двора по образцам, составленным знаменитейшими художниками для его величества короля.

— До обеда, значит, будут этим заниматься, — заметил старший гардеробщик, Федор Николаевич, серьезный мужчина средних лет, в придворном кафтане, сидевший за столом перед толстой тетрадью разграфленной бумаги в переплете, в которую он вписывал заметки о нарядах, вынимаемых гардеробщицей из шкафов. — Приказала подать ей список глазетовых роб, — продолжал он, озабоченно сдвигая брови, чтобы лучше рассмотреть пышную юбку, которую распяливали перед ним его помощница, прежде чем разложить ее рядом с прочими на столе. — Вот и эта ни разу не одевана. Сшита в январе семнадцатого дня тысяча семьсот пятидесятого года, из материи, выписанной маркизом Шетарди из французского города Лиона, по случаю траура заменена черной бархатной с жемчужной вышивкой и с тех пор ни разу не вынута из шкафа, — прибавил он, заглядывая в другую книгу и отметив прочитанную справку закладкой. — С этой будет, значит, три робы глазетовые бланжевого цвета, две небесно-голубого, одна верпомовая и три розовые, ни разу не бывшие в употреблении. Но так как украшения на них не такие, как на тех, что получены этой зимой из-за границы, то я нахожусь в сумлении и ничего не могу решить, не переговорив с Марфой Андреевной.

С этими словами Федор Николаевич, так же неторопливо и степенно, как все, что он делал и говорил, поднялся с места, подошел к двери, растворил ее и, подзвав дежурного пажа, приказал сказать госпоже Чарушиной, что ее просят пожаловать в гардеробную.

Это было как нельзя более кстати для горбуни, которая уже отчаивалась добиться свидания с госпожой. Она скромно отошла к сторонке и решила дожидаться тут удобной минуты, чтобы передать своей барыне, что присутствие ее необходимо дома. Но Марфа Андреевна, как вошла, так и заметила ее, и, прежде чем узнать от Федора Николаевича, для чего он за нею посылал, спросила у своей прислужницы:

— А тебя чего нелегкая сюда принесла?

— Фаина Алексеевна к нам пожаловала, — таинственно понижая голос, ответила горбунья.

— Вот как! Пусть подождет. Должна, кажется, знать, что я не по своей воле живу, а на службе при государыне нахожусь.

— Они уже давно ждут, больше часа... плачут... страсть как убиваются, — нашла нужным объяснить горбунья.

— С чего это? — усмехнулась Чарушина. — Ну, да ладно, скажи ей, что сейчас приду, пусть утешится.

Горбунья нашла барышню Фаину Алексеевну уже успокоившуюся и сидевшую у окна, в которое она смотрела на экипажи, один за другим въезжавшие в растворенные чугунные ворота с часовыми по обеим сторонам. Обогнув фонтан, золоченые кареты с высокими гайдуками в богатых ливреях на запятках останавливались перед широким подъездом под навесом, гайдуки соскакивали с запяток, украшенные гербами дверцы растворялись, подножки откидывались, и придворные лакеи помогали приезжим высаживать нарядных дам и девиц.

Те, наскоро оправив складки пышных юбок и затейливые прически под миниатюрными шляпками, кокетливо приколотыми к взбитым, напудренным волосам, поднимались по мраморным ступеням в вестибюль.

– Тетенька приказали вам сказать, что они сейчас сюда пожалуют, – заявила горбунья, с участием поглядывая на красное от слез личико девушки.

– Что это она сегодня там так долго? Прием уже начался, – сказала Фаина, указывая на экипажи, наполнявшие один из углов обширного двора. – Апраксина с полчаса как приехала, а Голицына с дочерью успела уже уехать. Какой большой съезд сегодня!

– Каждый день такой. Государыня не любит, когда у нее в апартаментах пусто: всем это известно, вот и ездят. А сегодня еще и новый интерес всех сюда притягивает: приехал комиссионер из Франции с образчиками материй. Остановился в посольстве. Вчера, говорят, весь город у него перебивал; все наши франты и франтихи чуть не на коленях просили его показать им эти образчики, но он, говорят, никому ничего не показал, – так и отъехали с носом. Государыня изволила смеяться, когда ей это рассказали, расспрашивала, кто да кто хлопотал раньше ее величества взглянуть на заграничные диковинки. Теперь, верно, на смех этих любопытных поднимает. А уж как, говорят, хороши материи-то! – продолжала горбунья, считая своим долгом занимать разговором гостью своей госпожи. – Надо так полагать, что императрица все прикажет себе оставить: ничего другим не уступит.

– И куда это ей столько нарядов! – рассеянно и думая о другом, заметила Фаина.

– И не говорите! – подхватила горбунья. – Вот и Федор Николаевич сейчас... Ах, милая барышня, если бы вы видели, какое множество чудных платьев висит в шкафах гардеробной! Есть ни раз не одеванные... А великой княгине надеть нечего! Сущую правду вам говорю, от самой гардеробщицы малого двора⁶ знаю. Намеднись жаловалась она мне, что перед каждым балом чехлы у них выворачивают да с одного лифа на другой украшения перешивают, чтобы новыми казались! А у нашей царицы одних парчовых да глазетовых роб сто пятьдесят шесть! А сколько бархатных, атласных, гродетуровых, муаровых – и не перечесть! И одно другого лучше, – с гордостью прибавила она.

Но душевное настроение не располагало Фаину восхищаться богатством царского гардероба, рассказы горбуни раздражали ее и наводили на дерзкие мысли: молодой и красивой цесаревне несравненно лучше пристали бы пышные роботы, чем дряхлеющей и отживающей свой век императрице. Но эти мысли здесь были так некстати, что она поспешила отогнать их от себя, как опасные и даже греховные. Ей ли, дочери человека, благодетельствованного императрицей, осуждать последнюю в чем бы то ни было, тем более теперь, когда судьба ее возлюбленного вполне зависит от великодушия государыни?

Между тем горбунья, объясняя по-своему досаду, с которой ее слушали, собиралась уже приняться за другой рассказ, чтобы отвлечь внимание своей слушательницы от мрачных мыслей, как вдруг знакомые шаги по коридору заставили ее с восклицанием: «Тетенька!» – поспешно юркнуть в соседнюю комнату.

– Ты тут давно меня ждешь, говорят? Точно не знаешь, что раньше полудня царица не изволит просыпаться и что, пока она чая не накушается да не оденется, я должна находиться при ней неотступно? Зачем раньше не пожаловала, если такая нужда была меня видеть? И отчего глаза у тебя заплаканы? Что случилось? Садись и рассказывай! – отрывисто закидывала вопросами Марфа Андреевна свою любимую племянницу, в то время как эта последняя почтительно целовала ее руку. – Что случилось? – повторила она, усевшись на свой любимый стул у окна и указывая посетительнице на скамеечку у ее ног.

⁶ Так называли двор цесаревича Петра Федоровича и его супругу.

– Его на границе арестовали, тетенька, и под караулом... как колодника... везут сюда! – прерывающимся от рыданий голосом проговорила девушка, пряча мокрое от слез лицо в колена тетки.

– Вот тебе здравствуй! И откуда у тебя такие вести? – сердито сдвигая брови, спросила Марфа Андреевна. – Да перестань рюмить, сударыня! Отвечай, когда тебя спрашивают! – прибавила она, строго возвышая голос, а затем вдруг, что-то вспомнив, захлопала в ладоши и закричала, обращаясь к двери: – Эй! Кто там? Сказать Акульке и прочим, чтобы от дверей отлипли. Застану кого, той же минутой прикажу выдрать! – заявила она, махнув рукой карлику, высунувшемуся из коридора при ее зове и тотчас же скрывшемуся, выслушав приказание. – Ну, теперь можешь сказать мне все, без утайки, как попу на духу, никто не услышит, – обратилась она к Фаине. – Откуда у тебя эти вести?

– Вчера у Трубецких... с княжнами в саду гуляла...

– Княжны сказали?

– Нет... князь Барский...

– А ты опять с ним разговаривала?

– Я, тетенька, с ним не разговаривала; он прошел мимо меня и как бы мимоходом...

– Мимоходом! Ну, говори же, говори!

– Он ко мне пригнулся и сказал... то, что я вам сейчас передала, – пролепетала девушка, все больше и больше смущаясь под гневным и пристальным взглядом тетки.

– Только? Не ври, Фаина! Ты знаешь, что со мной только правдой можно взять! Вся я здесь по уши в ложь ушла. Если и от своих мне правды не дожждаться, так на что вы мне, скажи на милость? Ведь одну только тебя я из всей моей семейки и принимаю; начнешь душой кривить, как прочие, так и от тебя отвернусь; так-то, – злобно dokonчила Марфа Андреевна.

– Я знаю, тетенька, но вы меня напрасно обижаете. Если вам мое горе прискучило, я уйду, – возразила Фаина, поднимаясь со скамейки.

– Уж и распетушилась! Принцесса какая, подумаешь! Слова ей не скажи наперекор! У тебя свое горе, а у меня, ты думаешь, нет печали? Ты про свое, а я про свое. Ну, садись, садись, рассказывай все сначала, всему поверю. Да садись же, говорят тебе! Прощения, что ли, хочешь, чтобы я у тебя попросила? Так этого ты, сударыня, не дождеешься! Мы сами с усами, у государыни прощения не просим, когда провинимся перед нею, вот что! Так что же он еще тебе сказал, наш Сахар Медович? – прибавила Марфа Андреевна, ласково посматривая на оскорбленную девушку.

Люб ей был гордый нрав племянницы. Она в ней себя узнавала.

– Он сказал, что Владимира Борисовича приказано допросить и обыскать на границе.

– Только-то? А ты уж: «арестовали, колодником назад везут»! Вот уж именно, что у страха глаза велики! Допросить, обыскать! Эко штука! Что же за него бояться, если ему скрывать нечего? – продолжала она, снова устремляя на собеседницу пытливый взгляд, от которого последняя вспыхнув потупилась. – И что же тебе от меня-то нужно, недо-трога-царевна? – прибавила она с усмешкой.

– Я думала, вы знаете, тетенька, или будете так добры узнать...

Невзирая на перемену в тоне тетки и на то, что та почти извинялась перед нею за оскорбительное недоверие, Фаина еще находилась под впечатлением обиды и не могла принудить себя сесть опять у ног Марфы Андреевны.

– То-то вот! Без тетеньки Марфы Андреевны обойтись не можешь, а покорной ей быть не желаешь? – проворчала старуха. – Про великую княгиню он ничего тебе не сказал? – прибавила она, помолчав немного и искоса посматривая на стоявшую перед нею в смущении девушку. – Не улещивал он тебя по-намеднишнему комплиментами от ее имени? Не говорил про ее желание, чтоб ты ей была представлена приватным образом у графа Ивана Ивановича

или у Алексея Григорьевича? Вспомни-ка хорошенько! Нет? Ну, так это еще придет. Я этого сокола, Барского, знаю: не таковский, чтобы скоро отстал от задуманного. И тонок, ох, как тонок! Чего от Марфы Андреевны добиться на мог, надеется через влюбленную девчонку добиться. Ну, вот что я тебе скажу, Фаина, – по-видимому довольствуясь молчанием девушки и ее смущением, которое она истолковывала по-своему, продолжала она: – Веди ты свою линию умненько, помалкивай себе да тетки не выдавай. Помни, что по теперешним временам одного лишнего слова достаточно, чтобы и меня погубить, да и всю твою семейку в бедствие ввергнуть. У тебя, сударыня, три сестрицы, с тобою четыре девки в доме, и ни одна не пристроена, – ты это завсегда держи себе на уме. Мы – не Долгорукие и не Голицыны, нас задавить нет ничего легче, и уж как повалимся, нам ввек не подняться. Такими дворянскими гнездами, как то, из которого я сама вылезла и всех вас за собою вытащила, вся русская земля усеяна, и никто про них не знает. Как родятся в темноте да в нужде, так и помирают, ничего, кроме нужды да притеснений от последнего воеводского ставленника, не выдавши на своем веку. Так-то! И того не забывай, что одного пинка достаточно, чтобы всех нас в прежнюю мразь втолкнуть. Вступить за нас некому, особняком мы ото всех здесь стоим, всем чужие. Одна у нас опора и защита – императрица... она да Бог, никого больше. Но до Бога далеко, а до государыни хоша и близко до поры до времени, но и между мной и ею злые людишки втираются, и не всегда могу я с нею по душе разговаривать. Так ты уж по пустякам не заставляй меня фавором моим пользоваться: помни, что я только тем и сильна здесь, что никогда ничего у государыни ни для своих, ни для себя не выпрашиваю. Понимаешь?

– Понимаю, тетенька.

– А понимаешь, так меня и береги. Никто еще из вас пальцем не пошевелил, чтобы тяготу мою облегчить. Постой, дай договорить, – остановила Марфа Андреевна протест, готовый сорваться с языка ее слушательницы. – Я зря никогда слов не теряю. Женился твой батюшка так, как я того желала? Взял за себя девицу знатного рода? Нет, на деньги прельстился. Ну, да он – дурак известный, – поспешила она прибавить, – от него иного чего, кроме глупости, нельзя было и ожидать. Я про тебя веду речь и опять то же самое, что прежде, скажу: некстати ты в Углова втюрилась, совершенно некстати. И некстати родители твои на этот альянс пустились. Богат, говорят! Эка штука, что состояние у него кое-какое есть! Деньги – дело наживное, а вот родовитости да знатности деньгами не купишь! А этого-то нам и нужно. Богатой и я тебя могу сделать, никто мне не может помешать все свое состояние тебе оставить. Пусть хоть одна из Чарушиных настоящей, именитой боярыней сделается по мужу, не хуже тех, что вот сюда в каретах с гербами ездят, – указала она на двор, из которого выезжала последняя золотая карета с ливрейными гайдуками на запятках. – А это уж от тебя, девка, зависит. Я могу нарядить тебя лучше всех, могу выпросить, чтобы тебя фрейлиной сделали, но, чтобы ты называлась не Чарушиной, а Воронцовой либо Апраксиной, этого никто, кроме мужа, не может для тебя сделать. Только по мужу можешь ты в настоящую знать попасть, а ты какого-то безвестного Углова себе в супруги наметила! Ну и будешь вместо Чарушиной Углова, – много выиграешь, нечего сказать! Что такое – Углов, скажи на милость? Кто его в Российском государстве знает? Были Угловы при царе Петре, но чем отличились – никому не знамо не ведомо! Не сумели случаем воспользоваться, как другие. Промеж казненных их нет, но и в люди вылезти не сумели. А уж при царе Петре чего было легче! Всюду искал он себе помощников, и, когда кого выдвигал, дело было твердо: так обставит человека, такую ему даст силу и значение, что потом такого свалить было мудрено. Да и то Меншиков свалился, потому что некому было его поддержать... пирожника! – прибавила она с презрительной усмешкой. – Ну, девка, обмысли мои слова, да и реши: стоит ли тебе за Угловым гнаться и заставлять старую тетку государыню из-за него беспокоить? Со всех сторон на него козни точат, чтобы родительского достояния его лишить, а тут еще новая беда на него обрушивается: в государственной измене его заподозрили. Время еще не

ушло, Фаина; выкинь дурь из головы, и я такого жениха тебе найду, которому Углов твой в подметки не годится.

– Мне он люб, тетенька, – проговорила, не поднимая глаз, девушка.

Марфа Андреевна с досадой махнула рукой:

– Заладила сорока Якова! Ну а если и в самом деле окажется, что он с царицыными предателями заодно орудует? Что же ты мне тогда прикажешь делать? Просить государыню его, изменника, милостями своими не оставлять?

– Он – не изменник! – вырвалось у Фаины.

– Увидим. А пока все не раскроется, скажу тебе, что и сокрушаться за него тебе не след. Так и скажи Барскому, когда он опять к тебе с намеками да угрозами подъедет. Знаю я, что им от тебя нужно! Сторонников всюду набирают – вот что! Им, чем больше будет недовольных, тем лучше. Всякому они рады, откуда бы к ним ни пришел, никем не брезгают. Уж если Орловыми не гнушаются... Ну, да не о том речь. А ты мне вот что скажи: что тебе Барский про цесаревну напел? Про тиранство ее супруга, про дерзость его новой метрески, про то, что не ему бы Российским государством править после кончины императрицы – дай ей Бог всех нас пережить! – а супруге его Екатерине Алексеевне, пока их наследник в лета не войдет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.